Годы, вырванные из жизни

Павел Саломонович Дворкин

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Дворкин Павел Саломонович.

Арестован 23 февраля 1938 г. НКВД по Алма-Атинской обл.

Приговорён: ВК Верховного Суда СССР 8 мая 1939 г., обв.: 58-7, 58-8, 58–11 УК РСФСР. Приговор: 15 лет ИТЛ.

Реабилитирован 12 января 1955 г. ВК Верховного Суда СССР за отсутствием состава преступления.

- Годы, вырванные из жизни
  - Дворкин Павел Саломонович.
  - Глава 1. АРЕСТ, СЛЕДСТВИЕ, СУД
  - Глава 2. В ЭТАПЕ
  - Глава 3. НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ
  - Глава 4. ВОРКУТА
  - Глава 5. ОСВОБОЖДЕНИЕ

Годы, вырванные из жизни

Дворкин Павел Саломонович.

Родился в 1894 г., Омская обл., Омск.; еврей; образование начальное; заведующий, Райфонаркомфин.

Проживал: Алма-Атинская обл. Алма-Ата.

Арестован 23 февраля 1938 г. НКВД по Алма-Атинской обл.

Приговорён: ВК Верховного Суда СССР 8 мая 1939 г., обв.: 58-7, 58-8, 58–11 УК РСФСР. Приговор: 15 лет ИТЛ.

Реабилитирован 12 января 1955 г. ВК Верховного Суда СССР за отсутствием состава преступления.

Источник: Сведения ДКНБ РК по г. Алматы.

> «Так действовала разоблаченная партией банда Берия, которая пыталась вывести органы государственной безопасности из-под контроля партии и Советской власти, поставить их над партией и правительством, создать обстановку беззакония и произвола».
>
> «Во враждебных целях эта шайка фабриковала лживые обвинительные материалы на честных руководящих работников и рядовых советских граждан».

(Из доклада Н. С. Хрущёва на XX съезде КПСС 15 февраля 1956 г.).

Глава 1. АРЕСТ, СЛЕДСТВИЕ, СУД

Как коммунист, считаю своим долгом перед своей партией Ленина, перед советскими людьми правдиво рассказать обо всем, пережитом мною и тысячами других партийных и советских работников, а также рядовых советских граждан, попавших в обстановку беззакония и произвола, созданных бандой Берия.

Семнадцать лет, проведенных мной в тюрьмах, этапах, лагерях, никогда не сотрутся из памяти. Эта травма останется на всю жизнь; Нельзя забыть того изуверства, с каким у тебя добивались признания в преступлениях, которых ты никогда не совершал. Не забыть допросов, сопровождающихся издевательством, мордобоями, глумлением, невиданными оскорблениями человеческой личности и достоинства, многочасовым стоянием в углах кабинетов следователей. Разве забудешь бессонные ночи, тогда ты, смертельно уставший от издевательских допросов н истязаний, буквально падал со стула, и веки, налитые свинцом, закрывали глаза. А в это время следователь, недавний выпускник шестимесячных курсов НКВД в Алма-Ате, сержант Максимов Георгий Николаевич ставил меня лицом к стенке и, дабы "освежить" после долгих и бесполезных для него допросов, вылил мне за ворот гимнастерки полный графин холодной воды. Особенно изощрялся этот молодой садист в избиениях. Ежедневно, после произнесения заученной им тирады: "Если враг не сдается — его уничтожают", он добавляя:

— Пиши, что ты участник контрреволюционной организации, и перечисли всех, кто с тобой в ней состоял.

После этого он хватал меня за волосы, пригибая голову между колен, и своим здоровенным коленом бил на протяжении 2 — 3 минут по шее. Эта издевательская экзекуция продолжалась до тех пор, пока однажды со мной случился припадок. После этого такие пытки прекратились, но мордобитие продолжалось.

Ежедневно, в продолжение 218 дней следователь называл мне фамилии товарищей, на которых я должен был показать, что они враги народа и члены несуществующей контрреволюционной организации. Это были мои товарищи по работе: начальник УМ НКВД КазССр майор Ефим Моисеевич Кроль, быв. начальник политотдела УМ КазССР Михаил Митрофанович Банников, он же начальник милиции на Дальнем Востоке, арестован был в Хабаровске и доставлен в Алма-Ату, начальник наружной службы милиции Казахстана Василий Васильевич Сулинов, начальник командного отдела Иван Кузьмич Жулев, мой помощник по уголовному розыску Николай Иосифович Якутик, быв.

наркомвнудел Казахстана Лев Борисович Залин, уполномоченный партийного контроля ЦК ВКП(б) по Казахстану Сергей Михайлович Елуферьев и другие.

Максимов Георгий Николаевич ныне, по данным КГБ Казахстана, уволен из органов по несоответствию со строгим выговором с занесением в партийную учетную карточку, проживает в Караганде.

Какие стальные нервы, какое сознание в своей правоте, какую веру в торжество справедливости нужно было иметь, чтобы вынести побои, оскорбления, испить эту горькую чашу до дна, не чувствуя за собой никакой вины ни перед партией, ни перед Советским государством, ни перед своей совестью.

В день моего ареста 24 августа 1938 года я был введен в кабинет начальника учетно-статистического отдела НКВД Казахстана ст. лейтенанта Михеева (бывший офицер царской армии). Он, прежде всего, предпринял против меня «психическую атаку», пригрозив мне, что из меня «выпьют всю кровь», если я не расскажу о себе как об участнике контрреволюционной организации. Когда эта «атака» не возымела никакого действия, меня из кабинета Михеева ввели в кабинет садиста-следователя Максимова, у которого самым действенным «аргументом» для получения признания у подследственного служил его кулак.

Максимов предложил мне сесть. В кабинете, кроме него, были еще два лейтенанта. Максимов предъявил мне уже заранее написанный бланк обвинения.

— Читай и подписывай, — сказал он.

Я прочитал и, улыбнувшись, сказал, что подписывать такую чушь не стану. Предъявлялась мне статья 58, пункты: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 УК. В ответ я получил сильный удар по правому уху от стоящего позади меня лейтенанта. Я повернулся, посмотрел на него и на Максимова и сказал:

— Подписывать не буду, и никакое ваше битье не поможет.

Максимов приказал мне подняться и повел в кабинет другого следователя. Там я увидел сидящего на стуле Николя Якутика, осунувшегося и сильно избитого. Я сел. Следователь спросил Якутика, подтверждает ли он свое показание, что я был вместе с ним завербован в контрреволюционную организацию бывшим начальником милиции Казахстана Кролем. Якутик кивнул головой.

— Видишь, слышишь, — кричит Максимов, — подтверждаешь?

— Выдумка, — отвечаю я.

— Значит, очную ставку не подпишешь? — кричит Максимов.

— Нет, не подпишу, — отвечаю я, — потому что это

провокация.

Меня снова увели в кабинет Максимова. И лишь 7 сентября, измученного конвейером допросов, бессонными ночами, недоеданием, с намокшим бельем от частых «освежающих» душей из графина, ночью я был уведен в камеру-одиночку внутренней тюрьмы НКВД в городе Алма-Ате. Я не оговорил ни себя, ни одного из товарищей, находившихся по моему делу. Когда надзиратели вывели меня из кабинета следователя, мне стало как-то тепло на душе. Я шел, как победитель, с сознанием того, что я никого не оклеветал, и пусть мне угрожает расстрел, я спокойно, с сознанием своей правоты и невиновности, с верой в справедливость выпью и эту последнюю чашу.

При выходе их главного здания во внутреннюю тюрьму, я через окна коридора увидел большую очередь людей. Позже мне стало известно, что это были арестованные, ожидавшие решения своей судьбы. В этот вечер заседала специальная выездная сессия военной коллегии Верховного суда СССР, прибывшая из Москвы. Председателем был некий Плавнек, который большинство обвиняемых приговаривал к расстрелу.

Вернувшись из Казахстана в Москву, Плавнек был сам расстрелян за «перегибы», а вернее, дабы не было лишних свидетелей этих позорных бериевских дел. Этим же Плавнеком был приговорен к расстрелу мой большой друг и товарищ, старый чекист Владимир Бергман, рабочий, которому инкриминировалось обвинение в «шпионаже».

Меня ввели в одиночку. Захлопнулась дверь. На койке спал человек. Разделся и я, лег на свободную койку и сразу же заснул. Подъем в 6 часов утра. Спал очень мало. Днем спать не давали. Одиночка маленькая — две железные кровати, в проходе тумбочка, у дверей «параша», над дверью высоко к потолку прикреплена электрическая лампочка, тускло светившаяся, окно с решеткой выходило во двор.

Со мной в одиночке был бывший председатель Западно-Казахстанского облисполкома из города Уральска тов. Спиров, член партии с 1917 г. Он рассказал мне, что с начала организации Советской власти работал председателем ревкома в Нижнем Новгороде (г. Горький), встречался с Лениным в Москве. Сейчас ему предъявили обвинение в «активном участии» в контрреволюционной организации. Избитый до потери сознания, он вынужден был оклеветать себя и других. С ним я пробыл в одиночке около 3 недель. Однажды он мне сказал:

— Товарищ Дворкин, скажу тебе как товарищу коммунисту, что тебя специально посадили со мной, чтобы я убедил тебя признаться, а также информировать следователей обо всем, что

ты будешь со мной говорить. Спустя 18 лет после освобождения из заключения, будучи в Москве, я узнал, что из Алма-Аты Спирова перевели в Свердловск, где он проходил и по делу секретаря Свердловского обкома партии тов. Кабакова и был расстрелян.

Почти около месяца меня на допросы не вызывали. В начале октября 1938 года я попал на допрос к сержанту, фамилию которого не помню. Но я знал его, так как за неделю до моего ареста он бесцеремонно вошел в мою квартиру и заявил, что займет одну комнату. Так вот этот сержант потребовал от меня, чтобы я дал показание для доклада на ЦК КПБ Казахстана о том, что признаю правильность своего исключения из партии первичной парторганизацией. Я ответил, что свое исключение из партии считаю неправильным, так как оно было продиктовано вновь прибывшим наркомвнуделом Казахстана Реденсом и не имеет под собой никаких оснований. Реденс был свояком Сталина — мужем сестры Алилуевой. Реденс, сделав свое черное дело, в 1939 году был арестован, доставлен в Москву и расстрелян. Следователь записал в протокол мое показание. Протокол я подписал. В мае 1939 года, уже в Москве, знакомясь с материалами после окончания следствия, я обнаружил, что слово «не» в этом протоколе было стерто, осталось слово «правильно». Это значило, что я будто признал свое исключение правильным. Вот так фальсифицировались материалы и обманывались высшие партийные органы.

После того, как товарища Спирова перевели в другую камеру, ко мне перевели зам. председателя Южно-Казахстанского облисполкома из Чимкента, казаха. Все дни он плакал и твердил, что он ни в чем не виноват. Жил я в одиночке только на тюремной пайке. Жена передала мне небольшую сумму денег, 20 пачек папирос, но я их не получил. Внутри тюрьмы имелся ларек, в котором можно было прикупить кое-какие продукты. Но мне это не разрешали, так как я не признавался и, по словам следователя, считаюсь «не разоружившимся врагом, который подлежит уничтожению». Я ему ответил:

— За лавочку и за продукты совесть свою не продам, совестью не торгую и ваша лавочка мне не нужна.

7 ноября 1938 года меня вызвали из камеры. «Неужели на свободу?», подумал я. Вошел в кабинет к лейтенанту, фамилию которого не помню.

— Ну, что ж, будешь писать или решил не разоружаться? — спросил он.

Я ответил:

— Я никогда не вооружался против партии и Советской

власти.

Вынув из ящика стола пистолет, он направил его на меня и сказал:

— Когда тебя будут расстреливать, я тебе одну пулю всажу ниже поясницы, а другую в затылок.

— Это еще видно будет, — ответил я. — У тебя руки дрожать будут.

Когда я боролся с контрреволюцией и бандитизмом, ты еще под столом ползал.

После нашего диалога меня увели в одиночку. В последних числах декабря 1938 года вечером я был доставлен в кабинет начальника секретно-политического отдела НКВД капитана Павлова. Там был и начальник отделения лейтенант Гизатулин, который должен был записывать протокол очной ставки между мною и Банниковым Михаилом Митрофановичем. В кресле за столом сидел Павлов, против него Банников. Я сел на диван у стены, против стола. Началась комедия «очной ставки».

Павлов: Ну-с, начнем. Скажите, Михаил Никифорович, подтверждаете ли вы ваши показания, данные следствию, что Дворкин, бывший начальник уголовного розыска Казахстана, состоял в контрреволюционной организации вместе с вами?

Я смотрю на Банникова, он смотрит на Павлова и отвечает:

— Да, подтверждаю. Об этом мне сказал бывший начальник милиции Казахстана майор Кроль.

И, повернувшись ко мне, говорит:

— Брось ты, Павел, упираться. Ну, было, дадут лет по пять, поработаем в лагерях…

Я не поверил своим ушам. Пристально посмотрев ему в глаза, которые слезились, я ответил:

— Все это выдумано, никакой организации не было, и нигде ни он, ни я не состояли.

Банникова увели. Протокол очной ставки подписан не был. Ушел начальник отделения. Я остался с глазу на глаз с Павловым. Он предложил мне пересесть в кресло, на котором сидел Банников. Сам сел против меня и сказал:

— Все признались, кроме тебя одного. Стоит тебе рассказать, как будешь возвращен к своей семье. Если же будешь упорствовать, расстреляют. Подумай.

Я ответил ему:

— Клеветать не буду, не могу — ни на себя, ни на других.

Ввели начальника наружной службы Сулинова Василия Васильевича. Те же разговоры, что и с Банниковым, и с тем же результатом.

Меня ввели в одиночку.

Назавтра вызывает следователь Максимов.

— Ну, вот, Дворкин, — говорит он, — подумай. Не будешь говорить, арестуем жену, а девочек твоих сдадим в детдом.

— Делайте, что хотите, но клеветать я ни на кого не буду, — ответил я.

Меня увели.

Не могу не описать, как меня допрашивал молодой практикант казах. На ночь таких практикантов оставляли с арестованными для того, чтобы они не давали тем спать и задавали только один вопрос:

— Ну, как, писать будешь?

Мой ночной страж смущался своей роли, как-то себя неловко чувствовал, зная, что перед ним бывший начальник уголовного розыска. Он терялся в форме обращения, то говорил мне «товарищ Дворкин», то, спохватившись, что он совершил непростительный, смертный грех, называл меня по имени и отчеству. Вот происходивший между нами диалог, смахивающий на анекдот:

— Ну, как, товарищ. фу, ты, Павел Соломонович, писать будешь? Улыбаясь, я отвечаю:

— Не о чем писать.

— Ну, как не о чем, ты школу милиции ходил?

— Ходил, — отвечаю.

— Это ты восстание хотел сделать, почта, радио, телеграф захватить хотел?

— Глупости, — отвечаю, — все это провокация.

— Ну, тогда не знаю.

Снова молчание и снова через 20 — 30 минут тот же диалог. Позже, в 1939 году, находясь в общей камере на Лубянке и в Бутырках (Москва), я рассказывал об этом допросе. Все хохотали, хотя на душе было совсем не весело. Кто-то бросил реплику: «Смех висельников». Это, пожалуй, правильно было, т. к. многих товарищей, которые после суда ушли в этап, в лагере мы не досчитались.

31 декабря 1938 года вечером открывается дверь моей одиночки, и надзиратель предлагает мне собраться с вещами, и снова я подумал, что иду на освобождение, ведь я не совершил преступления. Но это была непростительная наивность. Я уже рисовал себе, как вернусь домой, к своей семье, не зная о том, что ее давно в Алма-Ате нет, и что сделала она это вовремя, спустя несколько дней после моего ареста.

В комнате дежурного меня переодели в свое белье и затем вывели во двор внутренней тюрьмы, посадили в легковую машину и повезли по плохо освещенным улицам Алма-Аты. Через окно

ничего не было видно, но, хорошо зная город, я сообразил, что меня везут на вокзал. И, действительно, скоро меня вывели к полотну дороги, где на рельсах стоял столыпинский арестантский вагон. Поместили меня в среднее купе, решетки завесили одеялом. Через несколько минут я услышал шаги. Кто-то вошел в соседнее купе и закашлял. По кашлю я узнал Якутика. Вагон был прицеплен к скорому поезду Алма-Ата — Москва. Когда поезд тронулся, в мое купе вошел начальник конвоя и вежливо предложил мне ужин. Всю дорогу до Москвы кормили нас 3 раза в день. На второй или третий день пути в купе вошел сопровождавший нас лейтенант Гизатулин. Сев против меня, он в «дружелюбном» тоне спросил:

— Наверное, в Москве расскажешь, как тебя били на следствии?

При этом он мне напомнил, что я один из всех, который упорно не хочет признаваться, но в Москве все равно заставят сказать. Я ответил:

— Клеветать ни на себя, ни на других не буду.

Он ушел. На пятый день поезд подошел к Москве. Наш вагон был поставлен на запасной путь в тупик. Вечером вывели меня из вагона. Я увидел против вагона закрытую машину желтого цвета с большой надписью через всю машину «Хлеб». Открылась дверь, и меня втолкнули в кабину и закрыли на замок. В этой кабине я сидел, не шевелясь, так как она была настолько тесна, что двери касались моих колен. После меня ввели еще и еще кого-то. Наконец, машина тронулась и через минут20 остановилась во дворе НКВД на Лубянке. Ввели в здание, сфотографировали в профиль и анфас с доской в руках, на которой был написан мелом номер арестанта.

После этой процедуры ввели в одиночную камеру тюремного изолятора. На следующее утро, едва начало светать, меня увезли в Бутырскую тюрьму. Там я очутился в камере, где сидели три человека. Это были коммунисты: Сорокин — бывший начальник сигнализации НКПС, Бобылев, работник ТНБ наркомпути, и беспартийный польский еврей Мазур Соломон Яковлевич из Вильно. В Москве, по его словам, он жил с 1921 года, работал зав. магазином. Обвиняют его в том, что до 1921 г. он был якобы связан с польской дефензивой (разведкой). Причем, это обвинение подтверждает молодой паренек, которому было в то время… 4 года.

Когда я вошел в камеру, Мазур лежал на своей койке, закрытый через голову одеялом, и не поднимался. Я выпил пару кружек чаю, любезного предложенного мне товарищами Сорокиным и Бобылевым. О Мазуре они мне рассказали, что

после допросов «всех степеней» он стал ненормальным. Подписывает протоколы допроса, не читая, по ночам вскакивает с койки, кричит, что за стеной ему слышатся голоса двух дочерей и жены, которых там пытают. Все время находится в состоянии апатии, ни с кем не разговаривает, ест много, жадно. Лишь временами наступает прояснение.

Утром в туалетной Сорокин и Бобылев мылись до пояса. Я заметил, что на их спинах были рубцы. Они рассказали мне, что это результат допросов в Лефортово. После таких побоев они вынуждены были подписать то, что от них требовали, т. е. оклеветать себя и других невиновных работников Наркомпути, арестованных по приказу Кагановича.

В Бутырской тюрьме я просидел 7 дней, а затем меня перевезли на Лубянку, где находилось человек 12. Небезынтересна процедура обыска на Лубянке. Прежде, чем посадить в камеру, двое здоровенных мужчин в белых халатах привели меня в большую светлую комнату. Посредине стоял длинный некрашеный стол, на нем лежали ножницы, ножи. Мне приказали раздеться догола. Ну, подумал я, теперь возьмутся за мое бренное тело. Но они занялись моими вещами. Разложили на столе брюки, гимнастерку, трусы, рубашку. Тщательно обследовали каждую складку, каждый шов. Затем обследовали и сапоги. Один из «белых халатов» поинтересовался, сколько у меня денег и куда я их запрятал. И тут же велел мне дать подписать, что, в случае обнаружения у меня запрятанных денег, я буду отвечать строго по закону. Но ничего, кроме 15 копеек в кармане брюк, у меня не оказалось.

После тщательного обыска меня водворили в камеру. Фамилии всех товарищей по камере я не помню, но знаю, что большинство из них были коммунисты и комсомольцы. Близко я сошелся там с зам. редактора «Комсомольской правды» кандидатом в члены ЦК КПСС тов. Перельштейном Мироном Львовичем, проходившим по делу А. Косарева, с зам. наркома оборонной промышленности, комдивом Горьковской дивизии Бочаровым. Бочаров был страшно деморализован еженощными допросами, избиениями и всегда возвращался в камеру в состоянии какого-то оцепенения. На мой вопрос, как он себя чувствует, Бочаров отвечал: «Очень плохо, наговорил то, чего никогда не было, скорее бы все закончилось. Знаю, что меня расстреляют ни за что». Очевидно, так это и было. В нашем большом этапе Бочарова не оказалось, и больше о нем я ничего не слышал, знал только, что в Москве у него оставались жена и сын. Запомнил еще одного товарища по камере. Это адъютант товарища Блюхера по фамилии Гонюшин. И его еженощно

вызывали на допросы, очные ставки с женой Блюхера, которая также была под арестом на Лубянке. После допроса Гонюшин еле-еле дополз до камеры. Как-то он рассказал, что его били палкой по пяткам ног. О его судьбе мне ничего не известно. Надо сказать, что, несмотря на страшные побои, он всегда был оптимистично настроен. Дня через два или три меня вызвали к следователю. Два надзирателя, взяв под руки, повели меня скорым шагом. По пути приходилось задерживаться в коридорах огромного здания на Лубянке, поворачиваться лицом к стене, чтобы пропустить мимо себя или самому пройти мимо спин, не видя лиц других арестованных.

Наконец, я был доставлен в кабинет следователя. Начало встречи со следователем носило мирный характер. Пригласив сесть, он меня спросил, как я доехал до Москвы, как себя чувствую, не применяли ли в Алма-Ате на допросах физических методов. Это было чистым ханжеством, и я на все заданные вопросы ответил весьма лаконично. После такого вступления следователь, раскрыв объемисто дело, начал перечислять все мои смертные грехи, совершенные против Советской власти, начиная с государственной измены, подготовки к восстанию и т. д.

— Но так как вы не отдохнули еще с дороги и не обдумали всю тяжесть содеянного вами преступления, — сказал следователь, — вам необходимо еще пару дней отдохнуть и подумать, так как все ваши однодельцы давно уже признались во всем. Идите, отдохните.

Я вернулся в камеру. Несколько дней спустя я был снова доставлен в кабинет следователя лейтенанта Иванова. Обратившись ко мне по имени и отчеству, следователь сказал:

— Начнем писать.

— О чем?

— О контрреволюционной организации, в которой вы состояли, и о других ее участниках.

— Такой организации не было.

— Учтите, — строго сказал следователь, — здесь вам не Алма-Ата.

— Учитываю.

— Елуферьев подтверждает ваше участие в контрреволюционной организации.

— Пусть Елуферьев подтвердит показания на очной ставке со мной.

— А если он подтвердит на очной ставке, вы все расскажете? — спрашивает следователь.

— Но никакой ведь организации не было, — ответил я. — А Елуферьев, возможно, помешался и говорит всякую несуразицу.

С Сергеем Михайловичем Елуферьевым я познакомился в 1934 году, когда он прибыл в Алма-Ату вместе с П.Г. Москатовым и работал заместителем председателя комитета партийного контроля ЦК по Казахстану.

Елуферьев, в прошлом тульский рабочий, железнодорожник. Отец, братья его — все железнодорожники. В 1935 году, после отъезда товарища Москатова в Москву, Елуферьев был назначен вместо него председателем этого комитета.

В марте 1938 года я был в Москве в командировке. Жил в гостинице «Селект», что на Малой Лубянке. 8 марта вечером меня подозвали к телефону. Говорил Елуферьев. Он сообщал, что его отозвали в Москву в ЦК, приехал сюда с семьей, просил меня зайти к нему домой на Петровку. Утром на мой звонок из квартиры вышла жена Елуферьева, вся в слезах. Она сказала, что ночью арестовали Сережу. Страшно потрясенный, я все же успокоил ее, сказав, что разберутся, и ушел. Накануне 1 мая я встретил работника НКВД из Куйбышева, некоего Строилова, который сообщил мне, что он доставил под конвоем в Москву на Лубянку секретаря ЦК КПБ Казахстана Левона Исаевича Мирзояна, жену его Тевосян и двух детей. Мирзоян ехал по вызову ЦК в служебном вагоне, ничего не подозревая. В Куйбышеве в вагоне вошли работники НКВД, предъявили ему ордер на арест его и жены, доставили их на Лубянку. Детей отдали И.Ф.Тевосяну, брату жены Тевосяна. Интересно отметить, что примерно за месяц до ареста Мирзояна в Алма-Ате состоялся пленум или партийная конференция, где была зачитана телеграмма от Сталина с высокой оценкой деятельности Мирзояна.

Мирзоян и его жена погибли, а т. Елуферьев после реабилитации умер в Москве. Об этом мне сказал тов. Москатов, которого я встретил в 1956 году.

Итак, я снова на допросе.

— В каких отношениях вы были с Москатовым и когда с ним познакомились?

— Москатова я знаю с 1926 года, когда он работал секретарем Таганрогского окружного комитета партии. Затем встречался с ним в Алма-Ате, где он был уполномоченным комиссии партийного контроля ЦК ВКП(б) по Казахстану.

— Какие антисоветские разговоры вы вели с ним? — спрашивает следователь Иванов.

Я посмотрел на этого наглеца, который ради своей карьеры готов был посадить всех членов ЦК и всю партию, и ответил:

— Я знал Москатова как бывшего рабочего-электрика, как партизана, воспитанного партией, как кандидата в члены ЦК и

ничего плохого не могу о нем сказать.

— Так, значит, не скажешь? — угрожающе спросил Иванов.

— Не о чем говорить, — ответил я.

Тогда он, порывшись в каком-то деле, перелистал несколько страниц и показал мне три строчки, напечатанные на машинке, якобы из показаний Залина — наркомвнутдела Казахстана: «Я имел в виду завербовать в организацию начальника уголовного розыска Казахстана Дворкина, как энергичного работника». И все. Эти сфабрикованные строчки были новой неудавшейся психической атакой.

— Вот Залин, — продолжает говорить следователь, — также держался героем, вроде тебя, а у нас стал миленьким — все рассказал. Хочешь, приведу его сейчас? И он подтвердит свои показания.

— Пусть приведут, — ответил я.

— Ладно, завтра с тобой будет разговаривать начальник следственной части НКВД СССР ст. майор Володзимирский.

Вечером того же дня меня снова привели к лейтенанту Иванову. Я сидел на стуле у входа в кабинет и думал о предстоящем разговоре с Володзимирским. Ко мне подошел сотрудник с довольно наглой физиономией, в гимнастерке с красными петлицами, но без знаков различия. Неистовым, истошным голосом, переходящим в визг, он крикнул мне в лицо:

— Встать, почему не встаешь?

Я спокойно ответил:

— А я не знаю, кто вы такой.

— Сейчас пойдешь со мной к старшему майору Володзимирскому, он тебя поучит, ему все расскажешь.

Я молчал. Через несколько минут он повел меня по длинному коридору. У двойных обитых дверей остановил меня, открыл их, и я вошел в кабинет Володзимирского.

За большим тяжелым письменным столом сидел упитанный, самодовольный, средних лет человек, с большой шевелюрой темных с проседью волос, зачесанных назад. На столе навалом лежала куча следственных дел. Впереди стола стояли два глубоких кресла, слева большой кожаный диван. На нем сидели трое сотрудников, в руке одного из них была четырехгранная резина, сантиметров 40–50 длиной. На полу большие, пушистые ковры. Передаю почти точный диалог между мною и Володзимирским.

— Садитесь, — сказал Володзимирский и начал рыться в куче дел, наваленных на столе. Вытащив одно очень объемистое дело, повернувшись ко мне, сказал:

— В этом деле имеется 48 показаний о вашем активном

участии в контрреволюционной организации. Вот уже 7 месяцев, как вы арестованы и не даете никаких показаний ни о себе, ни о ваших однодельцах.

Имейте в виду, — подчеркнуто сказал он, — у нас нет не сознавшихся.

Не будете говорить, отправим в Лефортово, а там скажете.

— Я ничего не могу сказать, — ответил я, — т. к. я ни в какой контрреволюционной организации не участвовал. А для того, чтобы со мною не возиться и не возить в Лефортово, давайте я лягу вот на этот диван, и пусть меня засекут этой резиной насмерть.

Так я ответил Володзимирскому, который после разоблачения Берия оказался членом его шайки и был расстрелян по приговору Советского суда уже в звании генерал-лейтенанта.

— Ну, что ж, сегодня ночью вас повезут в Лефортово, — сказал Володзимирский. — А знаете ли вы, что такое Лефортово?

— Знаю, — ответил я.

Меня отвели в камеру. Понятно, что настроение у меня было очень подавленное. Я знал со слов многих товарищей, побывавших в Лефортовской тюрьме, что из себя представлял этот застенок. Лефортово было как бы синонимом самой страшной, разнузданной инквизиции, тюрьмы, где людей доводили до умопомешательства, где они умирали в кабинетах следователей после избиения, кончали жизнь самоубийством, где допросы велись под игру баянов.

Я почти не спал всю ночь. В моей голове никак не укладывалось чудовищное обвинение, выдвинутое против моих товарищей по работе.

Ведь они, как и я, на протяжении долгих лет боролись с настоящими врагами партии, с контрреволюционерами, белогвардейщиной, интервенцией, шпионами, политическим и уголовным бандитизмом, расхитителями социалистической собственности, спекулянтами, уголовщиной. Много раз, в особенности, в первые годы становления Советской власти, рисковали получить пулю бандита из-за угла. И вдруг они сами якобы стали контрреволюционерами. Чушь, никогда язык мой не станет говорить то, чего никогда не было. Пусть убьют, не буду клеветать…

Утром на сердце стало как-то легче. Днем в Лефортово не увезли. Наступил второй вечер. Настроение снова понизилось. Но прошла ночь — меня снова не вызывали. Несколько дней спустя, вечером открылась дверь камеры, вошел дежурный надзиратель и шепотом спросил (такой порядок в тюрьме): «На Д». Это означало начальную букву фамилии вызываемого на допрос. Я так же

шепотом произнес свою фамилию.

— Выходи.

Ввели меня в кабинет к двум незнакомым следователям, лейтенантам. Через несколько минут ввели моего помощника Якутика. Он выглядел очень плохо, седым, осунувшимся, худым, с впавшими глазами. Началась очная ставка.

— Якутик, — спрашивает один из следователей, — подтверждаете ли вы свои показания об участии Дворкина в контрреволюционной организации?

— Не подтверждаю, — отвечает Якутик. — Все это ложь, выдумка. Я вынужден был так показать, т. к. меня избивали и в Алма-Ате, и здесь в Москве. Товарища Дворкина я знаю как честного коммуниста, хорошего человека.

— А почему вы показали другое? — раздраженно спросил следователь.

— Если бы меня заставили сказать, что я сын абиссинского императора, то я бы это подтвердил, — ответил Якутик.

Следователь прикрикнул на него и велел немедленно отправить в камеру.

— Ну, вот, видите, — сказал я следователю, — такова цена всех показаний.

На мою реплику ответа не последовало.

После Якутика в комнату ввели Ивана Кузьмича Жулева, совершенно седого, исхудалого старика. А ведь ему было тогда не более 35 лет.

— Жулев, — дважды повторяет следователь, — повторяете ли вы свои показания об участии Дворкина в контрреволюционной организации?

Не глядя н а меня, Жулев молча кивает головой.

— Значит, подтверждаете? — спрашивает следователь.

— Да, — еле слышно отвечает Жулев.

— Подтверждаете ли вы? — обращается ко мне следователь.

— Ложь, выдумка замученного человека, — отвечаю я.

Уводят Жулева, я остаюсь с двумя лейтенантами.

— Вы верите в эту липу? — обращаюсь я к лейтенанту.

Оба молчат.

— Ничего, — говорю я, — я верю в справедливость.

Один из них мне отвечает:

— Вы умный, но наивный человек. Где эта справедливость? Бросьте о ней думать, нет ее.

Последующие допросы носили более мирный характер.

Наступила весна 1939 года. Как-то меня вызвал следователь, уже четвертый по счету, и предъявил мне обвинение по ст.58 п.1-17, т. е. в соучастии в измене Родине. Постановление я не

подписал и на нем же написал свое особое мнение. Через несколько дней меня снова вызвали и дали мне мое дело, законченное следствием, для ознакомления. Все мое дело из 24 полулистов. Читая эти явно фальсифицированные материалы, я бросил реплику:

— Дело-то у вас шито белыми нитками.

Сидевшие за столом сотрудники сначала будто не поняли, но, разобравшись, засмеялись. После этого я был отправлен в Бутырскую тюрьму, где просидел до суда, т. е. до 8 мая 1939 года.

В камере нас было человек 25, большинство из них коммунисты и комсомольцы.

Вечером 7 мая меня и еще одного арестованного инженера-железнодорожника из Оренбурга (фамилию не помню) вызвали с вещами. Ввели нас в так называемый «вокзал». Это огромный зал в тюрьме с целым рядом маленьких камер «боксов», расположенных вдоль стен. В этих камерах, рассчитанных на 1–2 человека, можно было только сидеть или стоять. В один из таких «боксов» ввели нас и закрыли на замок. Несколько часов спустя открылась дверь, и человек в форме военюриста вручил нам обвинительные заключения. Мое обвинительное заключение вместилось… на одном полулисте. Под утро нас посадили в «черный ворон» и доставили к подъезду большого мрачного здания. Это была знаменитая Лефортовская тюрьма. Меня ввели в полутемный бокс. На скамье сидел человек в форме летчика, но без петлиц. Я поздоровался и молча сел рядом. Спросив меня, хочу ли я курить, он протянул мне пачку папирос. Этот человек был страшно потрясен всем, что с ним произошло. Его, начальника военного аэродрома в Ленинграде (фамилию не помню), обвинили в участии в военно-фашистской организации, возглавляемой Эйдеманом и другими.

— Вы понимаете, — говорил он, — я и понятия не имею ни о какой фашистской организации. Это же какое-то безумие. Вот, читайте. — Он протянул мне обвинительное заключение листах на 12 и добавил: — Вот скоро вызовут на заседание Военной коллегии и расстреляют.

Хотя и у меня настроение было мрачное, но я все же сказал ему несколько ободряющих слов:

— Не бойся, не расстреляют, а лет 25 дадут.

— Это было бы счастьем, — ответил он.

Сидели мы молча, усиленно курили. Во времени мы не ориентировались. В «боксе» окон не было, и только светила, как лампада, тусклая лампочка. Шума не слышно, изредка только доносилось хлопанье дверьми. Наконец, открылась дверь нашего бокса, и летчика увели на суд. Сидел я в углу у стояка отопления,

и вдруг мне послышался разговор. Я приложил ухо, и до меня донеслись слова: «Именем РСФСР и т. д.». Я понял, что над моей камерой заседание суда. Минут через 20 повели и меня. Иду в сопровождении двух молодцов по широкой лестнице, устланной мягким ковром, на второй этаж, где шло заседание двух выездных сессий военных коллегий Верховного суда СССР.

Ввели меня в большой светлый зал. На стене большой портрет главного вдохновителя уничтожения тысяч честных советских людей — Сталина. За столом, накрытым красным сукном, заседали: председатель сессии — диввоенюрист Алексеевский и два члена (фамилия одного из них Матулевич, второй не помню) и секретарь. На довольно почтительном расстоянии от суда, между двумя конвойными, стою я. Председатель зачитывает обвинительное заключение и спрашивает:

— Признаете ли вы себя виновным в предъявленном вам обвинении?

— Нет, не признаю, — отвечаю я.

— Что ж это вы, — спрашивает Алексеевский раздраженно, — на следствии не признались и суду не признаетесь? Каково будет ваше последнее слово?

Я прошу суд объективно разобраться во всех материалах и оправдать меня, т. к. я ни в чем не виноват. Меня уводят в соседнюю комнату. Входит надзиратель. Дает мне 2 папиросы. Я курю. За эти 20 — 30 минут, которые я провел в ожидании приговора, передо мной, как в калейдоскопе, пошла вся жизнь. Думал и о возможной смерти, которая уже и не так страшна, начинал философствовать: «Ничто не вечно».

Пожил 44 года, значит, хватит, все смертны, раньше или позже. Вот к сердцу подступает чувство гнева и боли за товарищей, которые оклеветали себя и меня. Но гнев мгновенно проходит. Ну, что ж, значит, не выдержали. Не виноваты они. Тысячи людей под пыткой оговорили себя и других.

Дверь комнаты, в которой я сидел, была приоткрыта. Напротив, у дверей зала заседания суда сидели два надзирателя. Слышу, как один, обратившись к другому, говорит:

— Что-то сегодня никого не расстреляли, повезло им, фашистам.

Я снова в зале суда. Председатель стоя читает приговор. Вместо ст.58 п. 1-а-17 мне предъявлена ст.58 п.7-8-17-11 УК РСФСР. Пункты эти означают: вредительство, соучастие в терроре, участие в контрреволюционной организации. И в заключение решения суда: «Приговорить к 15 годам исправительно-трудовых лагерей и к 5 годам поражения в правах.

Приговор окончательный и обжалованию не подлежит». Слушая страшный, несправедливый приговор, я почему-то улыбался. Меня уводят. Из зала суда меня повели в подвал, поместили в большую полутемную камеру, где было уже человек 16 осужденных. Не успел войти в камеру, как ко мне кто-то подскочил, обнял и поцеловал.

— Спасибо, дорогой, за твою моральную поддержку. — Это был бывший начальник военного аэродрома в Ленинграде, который сидел со мной в боксе Лефортовской тюрьмы в ожидании суда и был уверен, что его казнят.

В камере я познакомился с осужденными: пом. ком. войск Смоленского военного округа Андреем Киверцевым, начальником продовольственного управления РККА Александром Ивановичем Жильцовым и другими товарищами. Все они были коммунисты, комсомольцы, советские работники.

Вечером нас всех вывели во двор, посадили в «черный ворон» и привезли в Бутырку. Снова обыск, баня и этапный корпус.

В камере, рассчитанной на 30–40 человек, посадили 125. Здесь я встретил осужденного на 15 лет Мирона Львовича Перельштейна, профессоров Некрасова и Здродовского и многих других. Мы жили здесь, как в селедочной бочке, но все же не так однообразно и нудно, как в камерах-одиночках во время следствия и ожидания суда. Спали на нарах. Между проходами клали щиты (так называемые самолеты) и таким образом их закрывали. Из-за тесноты спали все на одном боку, а ночью по команде поворачивались на другой бок. Утром щиты убирались, проходы между нарами освобождались. Кормили супом из соленой трески и перловой крупы, вечером кашей, получали и по 600 граммов хлеба.

Как-то ночью к нам в этапную камеру ввели человека сильно обросшего, одетого в кавказскую бурку, на голове кубанка. Сел он у кого-то в ногах и попросил дневального закурить. Многие, проснувшись, пробрались к нему. Закурив, он рассказал нам, что не более часа назад его вывели из камеры смертников в Лефортово, где он просидел 90 дней. С ним в камере сидел секретарь Восточно-Сибирского крайкома партии Разумов, которого несколько часов назад увели на расстрел. Ему же, Бочарникову (или Бочкареву, точно фамилию не помню) смертная казнь была заменена 15-ю годами заключения. Сам он смоленский крестьянин, бедняк, бывший красногвардеец, партизан, участник гражданской войны. До ареста был комиссаром Краснодарского кавалерийского казачьего корпуса. Обвинялся в соучастии в контрреволюционной повстанческой организации на Кубани.

Кто-то задал ему вопрос, почему же он не обратился к Ворошилову как наркому обороны. Он ответил, что Ворошилов, несмотря на то, что хорошо его знает, ничем не хотел ему помочь.

Глава 2. В ЭТАПЕ

В начале июня 1939 года был сформирован этап. Выводили нас по 10 человек и грузили в автобусы с надписями: «Хлеб», «Мясо» — и на вокзал. На Курском или Ярославском вокзале, точно не помню, нас погрузили в «арестантские» вагоны. Поезд стоял на первом пути, против вокзала. В купе вагона, где нормально могут поместиться 4 человека, втиснули 25 человек. Из окон вагона мы видели, как по перрону ходили люди, останавливались против наших окон. Женщины утирали слезы. Наше настроение, несмотря ни на что, было бодрое. Каждый был убежден в своей невиновности, у каждого где-то глубоко в сердце тлела надежда, что все, что с нами случилось — это какое-то недоразумение, которое вскоре выяснится, и правда восторжествует. Кто-то вполголоса затянул старую песню каторжан: «Спустилось солнце за степью». Подхватили во всех купе, и вскоре громко во всю ширь запел весь состав поезда.

Поезд тронулся, пение продолжалось. Стоявшие на перроне замахали нам руками. В проходе нашего вагона стоял молоденький красноармеец конвоя и утирал слезы.

Москва осталась позади. Нас везли на север. В вагоне было очень душно. Набитые, как сельди в бочке, мы изнывали от жары и жажды, к тому же, питали нас селедкой. Горячей пищи не давали. Воды получали по ведру в день на 25 человек. Следовали мы по направлению Москва-Ярославль-Киров-Котлас. В нашем поезде находились так называемые «тяжеловесы», т. е. люди, осужденные сроком от 15 до 25 лет. Только один оказался осужденным на 3 года. Это был командир ОКДВА Подлаз, который, по его словам, получил этот срок за опоздание его дивизии при операции на Хасане. Ему явно повезло, и все завидовали этому счастливчику.

В Котласе нас выгрузили и отправили в один из пересыльных пунктов, где разместили по баракам в отдельные блоки. Товарища Подлаза отправили в другой пункт. Там его назначили комендантом. В то время в Котласе были сосредоточены десятки тысяч заключенных, следовавших в лагеря Крайнего Севера и Заполярья: Ухтижмлаг, Усть-Вымилаг, Логчимлаг, Печору и Воркуту. Из Москвы вместе со мной в лагеря шли товарищи:

Тодорский Александр Иванович, до ареста начальник Военно-Воздушной академии им. Жуковского. Осужден на 15 лет. Жена его, коммунистка, была арестована немного раньше его и расстреляна как «шпионка» какого-то иностранного государства.

Светлов Фердинанд Юльевич — старый большевик с 1904

или 1905 года, один из авторов знаменитой «Политграмоты» (Бердникова и Светлова), до ареста директор коммунальной академии в Москве. Умер в Ухтлаге в психиатрической больнице в 1944 году.

Киверцев Андрей — бывший пом. ком. войск Смоленского военного округа. Умер в Ухте.

Перельштейн Мирон Львович — зам. редактора «Комсомольской правды», кандидат ЦК ВЛКСМ, погиб в Воркуте.

Здродовский Павел Феликсович — профессор микробиологии. Шел в этапе из Москвы в Ухтлаг. В настоящее время дважды лауреат Ленинской премии, проживает в Москве.

Козлов — председатель ревкомиссии ЦК ВЛКСМ. Дальнейшая его судьба мне неизвестна.

Буценко — секретарь президиума ВУЦИКа. Жив. Находится в Киеве.

Бойцов Виктор — начальник личной охраны Жданова. Умер от умопомешательства.

Цандер Виктор — немец, коммунист, работник Коминтерна, умер в лагере.

Нахкала — финский коммунист, рабочий, столяр, умер в лагере.

Беленький — бывший секретарь т. Дзержинского Кауль — бывший управделами ЦКК.

Крумин — редактор газеты «Экономическая жизнь». По сведениям, жив, находится в Риге.

Жильцов Александр Иванович — начальник продовольственного управления РККА, в прошлом рабочий-пекарь, умер в лагере.

Оверкин Алексей Дмитриевич — бывший начальник снабжения горючим авиации РККА, живет в г. Москве.

Славин Михаил Львович — быв. комиссар военно-химической Академии им. Ворошилова, живет в Москве.

Анулов Леонид Абрамович — бывший работник разведупра, живет в г. Москве.

Адамович — бывший секретарь Якутского обкома. Жив.

Некрасов — профессор древнерусского искусства. Умер.

Захаров Николай Федорович — бывший секретарь НКВД Украины. Окончил институт красной профессуры. Жив.

Езерский Филипп — бывший начальник отделения главка Наркомпита СССР, жив.

Чугунов Василий — бывший работник Московской милиции. Жив.

Было и много, много других, но фамилии их стерлись уже из памяти. Из женщин коммунисток и комсомолок в нашем этапе

шли:

Разумова Аннна Лазаревна — партийный работник, жена бывшего секретаря Восточно-Сибирского крайкома партии т. Разумова.

Куусинен Айна — коммунистка, финка. Живет в Москве.

Рыкова Наташа — дочь Рыкова Алексея Ивановича.

Арина Мария Абрамовна — коммунистка, работала в МК. Живет в Москве. Андреева Александра Азарьевна — она же Ашихмина, старая большевичка, профессиональная революционерка, умерла в Ухте. О ней очень тепло отзывается К.Т. Свердлова в своей книге «Яков Михайлович Свердлов» (стр.37, изд. 1957 г.)

В Котласе мы пробыли около двух недель, и за это время все мы ближе сошлись, подружились. Общее горе сроднило нас, единомышленников по партии и идеям, людей без вины виноватых.

Мне вспоминается один старый большевик, к сожалению, не знаю его фамилии. Он рассказывал нам, что он до ареста работал директором библиотеки имени Ленина в Москве. Когда-то учился вместе с Молотовым. После ареста жена его, хорошо знавшая Молотова, обратилась к нему с просьбой чем-либо облегчить участь мужа, который ни в чем не виноват. Но Молотов не захотел даже ее выслушать.

Рассказывал он также, что во внутренней тюрьме на Лубянке сидел начальник МОРСИ Викторов и еще один моряк из высшего комсостава. Во время допросов их избивали до такой степени, что они вынуждены были оговорить себя и других. Но им как-то удалось передать заявление Ворошилову, чтобы он как нарком военмор вызвал их на личную беседу. Прежде чем вести к наркому, их побрили, приодели и доставили в кабинет к Ворошилову, где был и Молотов. Викторов и его товарищ рассказали, как их истязают, заставляя клеветать на себя и других, и что они под пытками вынуждены были оклеветать себя. Тогда Ворошилов сказал:

— Какие из вас большевики, если вы не можете выдержать пыток и оговариваете себя и других. Уведите их — приказал он.

Оба они были впоследствии расстреляны.

Среди этапников были и уголовные преступники, рецидивисты. Они угнетающе действовали на нас своим похабнейшим лексиконом и наглой распущенностью.

В Котласе нас выводили за зону на работы. Мы грузили прессованное сено на баржи Северной Двины. Работа была не тяжелая, время теплое — июнь, и все, после томительного пребывания в тюрьме, допросов и издевательств, охотно работали

на воздухе, разминали застывшие мышцы. Вечерами мы выходили из бараков, собирались группами и хором пели русские и украинские песни. Особенно выделялся мощный голос Буценко, человека, обладавшего богатырским сложением. Пели стройно, и ветер уносил куда-то вдаль, в тайгу, в тундру песни, льющиеся из глубины сердец. Больше всего исполнялись песни: «Закувала та сива зозуля», «Ревут и стогнут хвыли», «Прочь осенние думы» — Леси Украинки «По пыльной дороге», «Ермак» и другие. Со стороны можно было подумать, что поют это не узники, а боевые солдаты.

Находясь на этапе, почти все начали писать жалобы во все инстанции, вплоть до Президиума Верховного Совета СССР и самого «вождя народов» на необоснованность приговоров. Но на все жалобы следовал один штампованный ответ: «Осужден правильно», и точка.

Вскоре из бараков нашего блока начали вызывать людей и уводить в другую зону. Готовился этап в Воркуту. Но об этом мы узнали вечером, когда нам удалось через проволоку переговорить с этими товарищами. Везти должны были их на пароходе по Северной Двине мимо Архангельска до Нарьян-Мара, а оттуда пешком до Воркуты. В тот год только началось строительство железной дороги Ухта-Воркута. Каждого из нас занимала одна мысль: а куда же направят нас? Прощание с товарищами, уходившими в этап, было скорбное. Многие плакали, отчетливо представляя себе всю тяжесть пребывания в заключении на Крайнем Севере и в Заполярье. Все вокруг было сурово: и природа, и люди, которым была вверена наша судьба.

Однажды кто-то вошел к нам в барак и сообщил, что в Котлас прибыл «Московский этап». Все высыпали из бараков, чтобы посмотреть, нет ли среди прибывших друзей, родственников, узнать московские новости. Этапных ввели в нашу зону. В первой колонне этапа я узнал бывшего замнаркомвнутдела НКВД Казахстана майора Володзько Павла Васильевича, который подписывал ордер на мой арест. Должен сказать, что никакой злобы я почему-то не почувствовал к Володзько, т. к. был уверен, что подписывал он эти ордера с большой душевной травмой. Он был лишь «топором» в руках других.

Когда все разошлись по баракам, ч подошел к Володзько. Он, не ожидая встречи, немного растерялся.

На мой вопрос, какими материалами он располагал для моего ареста, он ответил: Никакими». Меня арестовали по приказанию наркомвнудела Казахстана Реденса. Этот Реденс прибыл в Казахстан из Москвы в июне 1938 г. по поручению Берия и начал громить партийную организацию. Он арестовывал

всех ответственных работников, начиная от секретарей ЦК и кончая работниками милиции. Володзько рассказал мне, что на вопрос, как быть, если нет оснований для ареста, Реденс ответил:

— Нужно бить беспощадно, тогда будут сознаваться.

В 1939 году Реденс, Володзько и некоторые другие палачи были вызваны в Москву и арестованы, якобы за перегибы. Реденс был расстрелян, Володзько осужден на 15 лет. Так Берия расправлялся со своими подручными, чтобы опустить концы в воду.

Володзько отправили в Воркуту и, как я узнал потом, умер здесь от болезни.

Несколько дней спустя и наш этап в количестве 400–500 человек был погружен на пароход, который доставил нас в Усть-Вымь на реке Вычегде. Здесь нас выгрузили, окружили конвоем, собаками и доставили в небольшой лагерь, расположенный в 2 километрах от пристани «Вогвоздино», где стояло несколько старых бараков летнего типа, построенных из жердей. Печами служили бензиновые бочки, нары двухъярусные. Усталые, мы вытянулись на голых досках, но уснуть не удалось. Мой взгляд остановился на какой-то «грозди», видневшейся из щели верхних нар. Как только я до нее дотронулся, она немедленно ожила, зашевелилась, и дождем посыпались на нас живые клопы. Ужас охватил нас, мы повскакивали с нар, стряхивая с себя эту мразь. Наступил вечер, за ним белая северная ночь. Никто не спал, никто не ложился на нары, все ходили по бараку или дремали, сидя на земляном полу. Утром мы попросили начальника лагпункта Горбатова перевести нас в другое помещение. Он предложил нам недостроенный рубленый барак, без потолка, без пола, но с крышей. Мы охотно перешли в этот барак, хотя до уюта здесь было далеко, но зато клопы не кусали.

Лагпункт «Вогвоздино» явился как бы преддверием ада, через который нам предстоял въезд в настоящее пекло. Здесь оформляли наши арестантские дела, заводили на нас формуляры. Ежедневно под конвоем ходили мы на пристань Усть-Вымь. Там была большая база, куда поступали продовольственные товары, обмундирование и т. п. Все это мы выгружали из прибывших сюда барж.

Не обходилось и без курьезов. Работавшие здесь все время уголовники называли нас, политических, «фраерами», т. е. наивными, неприспособленными людьми. В их голове никак не укладывалось, как это мы, изголодавшиеся в тюрьмах и этапах, не позволяем взять себе ничего съестного из открытых бочек с жирным заломом, из рваных мешков, наполненных сахаром, печеньем, конфетами, шоколадом и т. п. Как-то раз заведующий

баржей разрешил каждому из нас взять по одной селедке и по два куска сахару. Воспользовавшись его любезностью, мы съели все это без хлеба и запивали вычегской водой.

Наконец, нас погрузили на машины и повезли на север. До Серегово ехали мы на машинах. Там погрузили нас в вагоны и довезли до Княж-Погоста. Оттуда до Ухты, тоже на машинах.

Глава 3. НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ

Город Ухта — центр Ухтимлагеря НКВД. Здесь помещается и центр управления нефтяной промышленности. Подъезжая к Ухте, мы издали видели высокие буровые вышки, возвышающиеся над тайгой. Вокруг города расположены нефтешахты №№ 1, 2, 3 и 4.

Вокруг Ухты были лагерные пункты лесных заготовок. Шло также скоростное строительство тракта Ухта-Крутая длиной в 100 км. На это строительство прибыл целиком весь наш эшелон. Женщины, прибывшие с нами, были направлены в лагпункт сельхозснаба в Седью. Многие из них еще раньше ушли из Котласа на Воркуту.

Тракт Ухта-Крутая пролегал через дремучую тайгу с непроходимыми болотами и большой рекой Ижмой. Мириады комаров, мошкары и прочего гнуса поедом ели людей.

Наш этап был доставлен в Седью, где помещалось управление строительства, на автомашинах. Здесь состоялась наша первая встреча с начальником строительства тракта Ухта-Крутая инженером Яцковским. Это был грузный, пудов на 8 мужчина, с громадным животом и непомерным аппетитом гоголевского Собакевича. Мой товарищ, работавший впоследствии личным поваром Яцковского, рассказывал, что за обедом тот съедал до 2 кг жареного мяса и вообще страдал обжорством. Его отношение к нашему этапу, в особенности, к коммунистам, резко отличалось от отношения к уголовникам, рецидивистам. Собрав весь наш этап, он объявил нам, что все мы, независимо от профессии и специальности, будем заняты только на общих работах, т. е. орудовать лопатой, киркой, ломом, толкать груженые тачки. Даже от услуг врачей и профессоров он отказался.

— У нас есть лекпомы, хорошо справляющиеся со своими обязанностями. Что это были за лекпомы, расскажу ниже.

Отдохнув сутки в Седью, мы должны были следовать дальше, к своим лагпунктам, расположенным вдоль тракта. Утром всех нас с вещами выстроили у ворот зоны (лагпункта). Там стояло несколько подвод для нашего багажа, т. к. до места назначения нам предстояло пройти 40–50 км. Погода была теплой. Яцковский приказал нам не только чемоданы, но и пальто, шинели сложить на подводу, а самим двигаться налегке. Мы были благодарны начальнику тракта, что он освободил нас от тяжелой ноши, но вскоре раскаялись в том, что оказались столь доверчивыми.

Как только мы двинулись, подводы с вещами скрылись из виду. А когда мы, усталые, голодные, к вечеру кое-как добрались до места назначения, то к общему изумлению и возмущению

узнали, что нас всех нагло ограбили. Подводчиков уже не было, они вернулись в Седью. Наши протесты ни к чему не привели. На них даже не обратили внимания. Десять лет спустя мне пришлось встретиться с организатором грабежа. Это было в Ухте, где я работал тогда зав. лагерной баней с парикмахерской при ней. Лицо одного из парикмахеров Гриши Вартаньянца показалось мне знакомым. Он не скрыл от меня, что это он возил вещи «фраеров», следовавших этапом из Москвы на тракт:

— Заехали в тайгу и «обшманали» (обыскали) все углы (чемоданы) и хорошие «тряпки» забрали.

— А какие же тряпки были в чемоданах? — спросил я.

— Было много, — ответил он, и начал перечислять: лепехи (костюмы), прохоря (хромовики, хромовые сапоги), рубаяхи (рубахи), а у некоторых гроши (деньги).

— А кому же вы продали вещи?

— Вольнонаемным стрелкам ВОХРа, комикам (т. е. жителям Коми АССР), деньги пропили.

Несколько месяцев спустя Гриша Вартаньянц был зарублен топором в своей парикмахерской своим земляком, молодым армянином, за присвоение его собственных парикмахерских инструм

Итак, мы шли через тайгу, вошли в узко прорубленную просеку. По обеим ее сторонам лежали сваленные деревья, по такой дороге нам пришлось шагать 40–50 км. По пути встречались зыбкие болота, покрытые жердями. Мы шли и проваливались. Сопровождавший нас конвой частенько стрелял над нашими головами, якобы для острастки. После нескольких перевалов, к вечеру, мы подошли к небольшому лагпункту под № 8. Занимал он небольшую площадь, обнесенную высоким забором из жердей, называемых «зонником». У ворот небольшого домика стояла вахта. Это был надзиратель из вольнонаемных. В его функции входило выпускать и впускать в зону людей и производить у них личный обыск.

Простояв около часа за зоной, мы, наконец, услышали крикливую команду: «Построиться по пять». Это кричали начальники из числа заключенных уголовников: нарядчик, комендант, бригадир. Тут же стоял и вольнонаемный начальник лагпункта. После этого нас стали вызывать по фамилиям, по формулярам. Вызванный должен был ответить на вопросы: имя, отчество, год рождения, по какой статье осужден, на какой срок, начало и конец срока. После этого его впускали в зону и подвергали тщательному обыску.

После того, как мы вошли сюда и ворота закрылись за нами, я невольно вспомнил слова Данте: «Оставь надежду навсегда».

Внутри зоны стояла толпа прожженных рецидивистов, уголовников. Очевидно, они были заранее проинструктированы, и поэтому во все горло кричали: — Эй, вы, враги народа, фашисты, — сопровождая свои подлые выкрики похабнейшим матом. Все это носило характер психической атаки, психологического террора. Было невыносимо больно слушать эти оскорбления от врагов нашего общества, вконец разложившихся людей, готовых за деньги служить даже Гитлеру и любому другому негодяю, ибо у этого деклассированного элемента не существует понятия Родины, Отечества, патриотизма. Эти людские подонки идут туда, где больше дадут, туда, где безнаказанно можно грабить, убивать, воровать, пьянствовать, развратничать. С этой раковой опухолью мне приходилось вести самую беспощадную борьбу и в годы гражданской войны, и позднее, работая в органах ЧК, в уголовном розыске, и поэтому я знаю настоящую цену этому элементу, которого исправить может только могила. Именно этих выродков оперативные работники бериевской организации использовали как свою агентуру, натравливая их на невинно осужденных людей, организуя провокации и убийства. Недаром лагерное начальство называло эту уголовно-деклассированную мразь «Наша социально-близкая прослойка». Какая злая ирония! Коммунисты, комсомольцы, ответственные партийные советские работники, старые большевики, честные советские граждане, загнанные злой волей Сталина и Берия в лагеря, считались врагами народа и были отданы на поругание этой прослойке, «социально близкой» фашизму. Сколько честных людей погибло из-за этой уголовной шатии! Каким нечеловеческим издевательствам, глумлению подвергали они нас, отравляя нам и без того горькую жизнь. Особенно тяжело приходилось нашим женщинам: матерям, сестрам, женам, членам семей так называемых «врагов народа». Они буквально были брошены в пасть зверю, т. е. всем этим уголовникам и бандитам, которые в годы ежовско-бериевского руководства занимали руководящие посты в лагере.

На пункте, кроме начальника лагпункта, военизированной охраны, весь остальной руководящий состав: бригадиры, коменданты, нарядчики, десятники, зав. изоляторами, зав. кухнями, зав. хлеборезками, коптеры, возчики и т. д., состоял из заключенных-уголовников. И не удивительно, что уделом несчастных женщин, попавших в лагеря к этим зверям, было насилие, заражение венерическими болезнями, побои и даже убийства. И все это творилось безнаказанно. Многие женщины, не желая быть наложницами бандитов, кончали жизнь самоубийством. Все эти начальствующие бандиты были связаны

единой цепочкой — разнузданным произволом, взяточничеством, безнаказанным издевательством и даже убийством непослушных «политиков». Эта «теплая компания» могла и освобождать от работы, переводить на более легкие работы. За это от мужчин требовали денег, а от женщин — сожительство.

Все долгие годы своего заключения я не мог без чувства горечи смотреть на заключенных женщин, одетых в ватные брюки, кордовые ботинки, телогрейки, бушлаты и шапки, работающих на непосильных для них работах. Из беседы с профессором-гинекологом Хохловым я узнал, что почти все заключенные женщины болеют гинекологическими болезнями вследствие тяжелого труда.

Бесчинствовали не только уголовники. Среди вольнонаемных стрелков военизированной охраны попадались своеобразные «охотники за черепами», тем более, что они имели право убивать заключенных даже за малейшее нарушение зоны на месте работы. Но расскажу по порядку.

Утром после гонга в 5 часов бригады заключенных строятся у ворот лагпункта. Открываются ворота, нарядчик объявляет, куда и на какую работу идут бригады. Лекпом сообщает фамилии освобожденных от работы по болезни. Люди получают инструменты. Подается команда старшего стрелка: «Построиться по пять». Затем грозное предупреждение:

— Заключенные, внимание. Руки за спину, предупреждаю — шаг в сторону считается побегом. Конвой применяет оружие без предупреждения. Заключенные двигаются к месту работы. Впереди и по бокам конвой, сзади овчарки. На месте работы конвой отводит зону, перешагнуть которую значит лишиться жизни. На лесных делянках зарубки делались на деревьях. Но если срубленное дерево падало за зону, надо было испрашивать разрешение у конвоя перейти рубеж и затянуть дерево внутрь зоны.

Были случаи, когда отдельные конвоиры просто охотились за заключенными, которые, увлекшись работой или замечтавшись, переступали черту зоны и…падали, сраженные пулей охотника за черепами. Так, однажды осенью 1939 года на строительстве тракта Ухта-Крутая наша бригада снимала мох. Место было открытое, и вместо зарубок на деревьях конвой оградил зону воткнутыми палочками высотой 60–70 см. Во время перекура один из заключенных, бывший председатель колхоза их Чувашии тов. Лисин поднялся и пошел к месту своей работы. Вдруг раздался выстрел. Лисин упал. Ноги у него оказались по ту сторону воткнутой палочки, а туловище по эту. Значит, попытка к бегству.

По команде конвоя вся бригада легла на землю. Прибыл разводящий, тяжело раненого Лисина увезли. Пуля пробила ему таз и область паха. К счастью, он выжил. Через год я встретил его на другом лагпункте. Он стал инвалидом.

Не могу забыть и такой случай. Недалеко от нашей бригады работала другая бригада под началом молодого человека, бывшего военного по фамилии Давыдов. После перекура по команде «встать и продолжить работу» все члены этой бригады поднялись, кроме одного, сидевшего на пеньке и курившего закрутку. Стрелок обратился к нему: «Почему не встаешь?». «Докурю, встану». «Встать, говорю, — закричал стрелок, — иначе расстреляю как врага народа!». И на глазах всех нас (в двух наших бригадах было около 100 человек) дослал патрон в ствол винтовки. Заключенный сидел и продолжал курить. «Не встану, пока не докурю, стреляй», — сказал он стрелку. Опасаясь, что этот диалог может окончиться расстрелом, все потребовали от Давыдова, чтобы он как бригадир вмешался в это дело. Давыдов заслонил собой заключенного, который, докурив папиросу, встал и приступил к работе. Этот стрелок охотился и за мной. Дело было глубокой осенью 1939 года. Шли беспрерывные дожди. При входе в зону на воротах висело полотнище с издевательской надписью: «На тракте нет дождя». Все бригады выходили на работу, занимались засыпкой грунта на полотно тракта. Работа вообще не из легких, а после дождя в особенности. Чтобы лопата входила в грунт, ее часто приходилось подогревать на огне костра. После десятичасового рабочего дня все бригады строились, выслушивали очередную «молитву» конвоя (так мы называли его предупредительные слова) и двигались к лагпункту. Идти было легче по обочине полотна тракта, где было сухо, но конвоиры загоняли нас на середину полотна в самую грязь, непролазную, липкую. А сами шли по обочине тракта. Я был обут во вконец разношенные ботинки (их в лагере иронически называли «32 срока»). И вот однажды, следую после работы в лагпункт, правая моя нога попала в густой грунт. Пока я вытаскивал ногу, бригада ушла вперед. Стрелок крикнул: «Что отстаешь, я вот тебе сейчас покажу» и щелкнул затвором. Я рванул ногу, и вся подошва осталась в грязи. Стал догонять бригаду. На ходу расшнуровал другой ботинок, снял с ноги и с двумя ботинками в руках, босой, пробрался в середину бригады. Так я босиком дошел до лагпункта по холодному полотну тракта. Думал, что обязательно простужусь, заболею воспалением легких, отправят меня в сангородок, вырвусь хоть на время из этого ада. Вечером пошел в амбулаторию. Смерили температуру — нормальная. Не сбылись мои мечты о больнице и отдыхе. Ботинки

заменили и снова отправили меня н а работу.

Однажды небольшая группа заключенных, состоявшая из военных, совершила побег с места работы. Через 2 дня часть из них была задержана, а остальные убиты в тайге. Беглецов посадили у ворот вахты для нашего обозрения и острастки. Это было страшное зрелище. Вместо одежды на искусанных собаками телах висели лохмотья. Лица, руки, ноги были превращены в кровавое месиво. Когда заключенные выходили на работу, командир взвода произнес речь, в которой предупредил, что всех, кто попытается бежать, постигнет такая же участь. Беглецов потом судили и добавили им еще по 5 лет.

Поимке беглецов помогали местные жители, которые получили по одному пуду муки и 25 руб. деньгами за каждую голову. Бывали случаи, когда местные таежники убивали заключенных, зная, что за это их не только не накажут, а, напротив, вознаградят.

Но вернусь к своему рассказу. Итак, мы прибыли в лагерный пункт № 8. Здесь было 3 больших жилых барака, столько же палаток, все с двухъярусными нарами. Спали на голых досках. Постелью служила телогрейка, под голову брюки, вместо одеяла бушлат. В помещениях было по две печи, оборудованные из бочек из-под бензина, и чугунные трубы. Печи топились дровами, на протянутых жердях над печками развешивались мокрые вещи для просушки.

Кроме того, была кухня, дезокамера, изолятор. Дезокамера или, как ее называли, «вошебойка» состояла из котлована, выложенного жердями, земляного пола, дверей, потолка и крыши. Печью служила железная бочка. В самой прожарке были расположены шесты с гвоздями для развешивания одежды. Была небольшая передняя, откуда затапливали печь. Топили ее дровами, температура нагонялась до 115–120 градусов. Изолятор был построен из дерева, пол земляной, в нем несколько камер с двухъярусными нарами и карцер без нар, совершенно пустой. Грязь была в карцере чудовищная. На полу валялся всякий мусор вплоть до экскрементов. Наш этап разместили в одном из углов барака. Основные жители барака — уголовники с вожделением посматривали на наши мешочки. Уставшие от длительного этапа, потрясенные всем пережитым, мы заснули крепким сном. Утром мы обнаружили, что все содержимое в наших и до того тощих сумках исчезло. Ясно, что все эти «друзья народа» нас обчистили. Жаловаться начальству было бесполезно, ибо, как я уже говорил, вся внутренняя администрация лагпункта были уголовники.

Как-то осенью 1939 года на наш лагпункт приехал зам. начальника тракта, и я решил к нему обратиться с жалобой, что

нам, недавно прибывшим заключенным, занижают фактическую выработку и урезают нормы хлеба и пайка. Он меня любезно выслушал, пообещал, что будут приняты меры. Но стоили ему уехать, как вечером меня вызвал нарядчик-уголовник с хулиганской физиономией и заявил:

— За то, что ты ходил жаловаться, будешь очень жалеть.

Действительно, после этого разговора, в продолжение 4 месяцев я получал в день только 400 граммов хлеба, хотя вырабатывал норму более чем на 100 %. Я начал худеть. Вошел в силу бандитский закон лагерной уголовной администрации о том, чтобы недовольных «доводить», т. е. лишать еды, урезать пайки, загружать непосильной работой. В результате такого «доведения» человек медленно угасал, как свеча. Жаловаться высшему начальству было бесполезно, т. к. начальник тракта Яцковский даже не хотел и слушать что-либо плохое о его «опричнине». Этот Яцковский, посетив нас на следующее утро после нашего прибытия в лагерь, разговаривал с нами в издевательском тоне и вновь подтвердил, что все мы, независимо от квалификации и профессии, будем использованы только на тяжелой физической работе на строительстве тракта.

На вопрос об использовании врачей Яцковский снова повторил и здесь, что у него свои лекпомы. Вот об этих лекпомах, которые должны были следить за нашим здоровьем, я хочу рассказать подробно. В роли таких лекпомов, вернее, чеховских «эскулапов» выступали безграмотные ротные фельдшера царской армии, ветеринарные фельдшера или просто аферисты, не имевшие понятия о медицине и дававшие больным во всех случаях или порошок аспирина, или ложку белой глины. Эти бандиты в белых халатах, с молчаливого согласия «держиморды» Яцковского, загубили и отправили в могилы не одну тысячу людей и за свои злодеяния получали от начальства премии.

Нам рассказали, как на лагпункте № 7 лекпомы «довели» отца бывшего председателя ОГПУ Ягоды, глубокого старика, который умер на земляном полу вонючего изолятора.

Особенно запомнились мне два изверга, именовавшие себя медицинскими работниками: врач Фарфоров и лекпом Канашкин. С Фарфоровым я лично не встречался, но его имя увековечили сами заключенные, назвав большой могильник в тайге «кладбищем Фарфорова».

С лекпомом Канашкиным я сталкивался часто и на себе испытал его медицинские «познания». Канашкин (донской казак, кулак-хуторянин) служил в старой армии фельдшером, был раскулачен и осужден за контрреволюционную деятельность к 10 годам. Несмотря на такую характеристику, он пользовался

благосклонностью Яцковского и был назначен им зав. медпунктом в нашем лагере.

Как правило, Канашкин освобождал от работы только уголовников за деньги. Остальных заключенных, несмотря на высокую температуру, явное заболевание, признавал здоровыми и выгонял на работу. Этот классовый враг со звериной жестокостью мстил коммунистам, советским работникам, а Яцковский и иже с ним благословляли действия этого бандита.

Иногда казалось, что в лагерях советской власти нет, все отдано на откуп авантюристам. На нашем лагпункте неистовствовал и другой омерзительный тип — Богданов. Этот уголовный бандит, имевший десятки судимостей за бандитизм, был назначен Яцковским бригадиром. Он также, как и Канашкин, вымещал свою злобу и человеконенавистничество над заключенными коммунистами, комсомольцами, советскими работниками. Он урезал им и без того скудные пайки хлеба. На работу он «приглашал» людей с палкой в руках. Те товарищи, которые хоть на минуту замешкались в бараке, получали от него сильные удары по голове, куда попало. Подражали ему и его подручные.

В тайге, где шел лесоповал, для Богданова разжигали большой костер. Развалясь на куче веток, покрытых шубой, он грелся у костра. Одет он был в хороший полушубок, меховую шапку, добротные валенки и время от времени покрикивал: «Эй вы, фашисты, давай, давай!». В его свите несколько отпетых рецидивистов, которые также бездельничали, но за счет выработки бригады получали «рекордное питание» (так называли в лагерях улучшенное питание: 1 — 1.2 кг хлеба и неплохой приварок).

Эти помощники обирали заключенных, вымогали у них вещи, посылки и т. п. Кстати, в лагерях доставку почты и посылок поручали расконвоированным рецидивистам, и естественно, что они все присваивали себе. Месяц спустя после нашего прибытия на лагпункт нам стало известно, что вечером из Ухты привезут много посылок для заключенных. Нетрудно было понять наше состояние, когда мы с радостью стали ожидать весточки или посылки от семьи, родных. Ведь многие из нас, находясь под следствием, по году и больше не имели возможности связаться с домашними, друзьями. Вечером вызывают по списку счастливчиков, кому прибыли посылки. Выдают посылки экспедитор из заключенных, вольнонаемный надзиратель и заключенный нарядчик. Вскрывают ящик, а он наполовину пуст.

— Расписывайся, — приказывает один из «комиссии», ведающий выдачей.

— Позвольте, как же так, половины-то нет, — говорит получатель.

— Не разговаривай, а то ничего не получишь, — отвечают ему.

Никогда не забуду, как один товарищ (фамилии его не помню) вместо посылки в 10 кг получил пустой ящик. Он рыдал так, как может рыдать человек, которого постигло большое горе. Всех нас этот грабеж среди белого дня потряс. Но что могли сделать мы, бесправные, оклеветанные, оболганные «враги народа»?

Экспедитор же с ожиревшей харей, усмехаясь, вернулся в Ухту и доложил, что все в порядке. А заключенные, получившие жалкие остатки посылок, обязаны были еще давать «оброк» нарядчику, коменданту, лекпому, зав. изолятором, бригадиру, десятнику и другим лихоимцам, от которых зависела его судьба, его здоровье. И даже повару, тоже вору-рецидивисту, надо было что-либо дать, чтобы он когда-нибудь налил лишний черпачок баланды или каши.

Канашкин и Богданов работали заодно. Были случаи, когда в сильнейшие морозы в 40–50 градусов, работая в тайге на лесоповале, люди, обутые в кордовые ботинки, подходили с обмороженными ногами к костру, за которым лежал Богданов, погреться. Но этот бандит и его подручные избивали их палками и отгоняли от костра. Вернувшись с работы, обмороженные обращались в амбулаторию к Канашкину за медицинской помощью. Но этот негодяй вместе с Богдановым и его подручными составляли на больных акты, что те якобы умышленно обморозили себя. Материал о «членовредительстве» передавался оперуполномоченному, направлялся в лагерный суд, и заключенные получали еще по 10 лет дополнительно к основному сроку.

До нашего прибытия в лагерь начальником Ухтимлага был некий Черноиванов, помощником к нему Ежов прислал особо уполномоченного Кашкетина. Эти садисты расправлялись с заключенными, осужденными по статье 58, со всей жестокостью, присущей таким негодяям. Оставшиеся в живых вспоминают эти подлые имена с содроганием. Оба они потом были расстреляны в Москве, еще при Берия по установившейся практике опускать «концы в воду».

Кухня была отдана в нашем лагпункте на откуп бандиту-рецидивисту Веревкину. Он сам подобрал себе штат поваров из таких же головорезов. Они с его ведома кормили своих друзей, разбазаривали ценные продукты, а основную массу заключенных «потчевали» жиденькой баландой, сечкой и куском соленой

трески. На таком рационе, естественно, работать было тяжело, и люди начинали постепенно «доходить».

Несколько месяцев спустя после прибытия в лагерь я уже находился на грани дистрофии. А было мне в то время 45 лет. Осенью 1939 года к нам из Ухты прибыла врачебная комиссия, состоявшая из вольнонаемных врачей. Председателем была начальник санотдела лагеря Скакуновская, женщина гуманная, коммунистка, чутко реагирующая на жалобы заключенных.

Когда я вошел в комнату по пояс раздетым, все члены комиссии уставились на меня, переглянулись и произнесли непонятное для меня слово: «СК-2». Как я потом узнал, меня назначили в «слабую команду-2», с временным освобождением от работы. Но это решение осталось только на бумаге. Как только комиссия уехала, меня вызвал к себе в амбулаторию Канашкин и приказал пойти работать в дезокамеру (вошебойку). Работа была здесь тяжелая. Приходилось пилить дрова, наколоть их, перетащить с улицы в дезокамеру, растопить печь и поддерживать температуру до 115–120 градусов жары. Каждый вечер, после прихода бригады с работы, я шел в бараки, которые по графику должны были проходить дезинфекцию, таскал оттуда белье, верхнюю одежду, развешивал ее в дезокамере и в то же время шуровал печь.

После прожарки уносил все вещи обратно в барак. Работал обнаженный по пояс. В 12 часов ночи, по окончании работы, открывал двери камеры. Оттуда тепло выхолило в переднюю, где я спал на топчане. Полагавшееся мне усиленное питание: 30 граммов жиров (масла) сахара, мяса, я полностью не получал. Но даже полная норма не могла компенсировать утерянные в процессе такой работы калории.

Убедившись, что мне одному не справиться со столь тяжелой работой, Канашкин дал мне в помощники такого же «доходягу», как и я, старого большевика Фердинанда Юльевича Светлова. Но если у меня был опыт физического труда (в первую империалистическую войну работал 3 года у прусского юнкера в поместье), то тов. Светлов не мог даже держать пилу, и ему было неимоверно трудно. Я щадил его, да и по возрасту он был старше меня и физически слабее. Уступив ему в передней свой топчан, я сам спал в дезокамере. Одеяла не требовалось, да и то, которое было у меня, здесь же украли.

С тов. Светловым, как уже было сказано, я познакомился в Котласе. Лет ему было 55–56. Болезненный, он был страшно потрясен незаслуженным арестом, остро переживал нанесенную ему моральную травму и никак не мог примириться со своей судьбой. Вечерами после работы, оставаясь вдвоем, мы кипятили

в ржавом котелке воду и пили ее, ведя беседы на разные темы.

Иногда я брал находившуюся в клубе лагпункта самодельную скрипку и кое-что импровизировал. Товарищ Светлов обладал приятным лирическим тенором. Любимой его песней была «Буря мглою небо кроет», которую он пел под аккомпанемент скрипки. Слезы заливали ему лицо. Срок у него, по сравнению с другими, небольшой — 8 лет, тем не менее, он часто мне говорил, что не переживет этот срок и погибнет в лагерях. Через несколько месяцев он заболел и был отправлен в единственный на тракте стационар, в поселок Седью. В 1942 или 1943 году он умер в психиатрической больнице в г. Ухте.

Как-то зимой 1940 года, работая на тракте, мы увидели, как по гребню горки двигался небольшой этап, напоминавший картину отступления французов из Москвы в 1812 году. На санях сидели люди в бушлатах, черных шапках, закрытые одеялами, согнувшиеся от мороза. Это были наши товарищи Тодорский, Зазулин, Трунов, Степанов и другие. Все они были больные и, как говорят в лагере, «дошли». Вечером, возвратясь в лагерь, мы встретили их в нашем бараке, где их оставили на ночлег. Встреча была радостной, говорили почти всю ночь напролет о новостях их Москвы, о родных, о доме и т. п. Под утро начали засыпать. Я остался с товарищами, примостился на грязном полу и заснул. Ночью приснилось мне, что на моей груди пристроилась кошечка и лапкой касается моей верхней губы. Открыв глаза, я увидел, как большая противная крыса спрыгнула с меня на пол. Стало противно, и больше уже спать я не мог.

Кстати о крысах. Они кишели во всех лагпунктах, где нам пришлось побывать. Не боясь людей, они бегали по спящим, залезали на головы, под одеяло или под бушлаты, ходили по столам. В бараках крысы разгуливали стаями. В особенности много их было у кухонь и помоек. В тяжелые годы войны, когда питание ухудшилось, некоторые заключенные питались крысиным мясом. Я знал одного такого крысоеда. Он работал статистиком в больнице. По профессии был учитель. После того, как он рассказал, что питается крысятиной, я его возненавидел. Один его вид вызывал у меня чувство омерзения.

В ноябре 1940 года нашу бригаду целиком из-за ссоры с прорабом нашего лагпункта за выработку, погрузили в машины и отвезли в штрафной пункт № 9. В этой знаменитой на весь лагерь «девятке» царил полный произвол. Вся власть находилась в руках бандитского элемента. Начальником лагпункта был проштрафившийся оперуполномоченный, беспробудный пьяница. Все он передоверил уголовникам. Только один-единственный человек был здесь. Это заключенный коммунист Багдасарьян,

работавший здесь нормировщиком. Он чем мог, помогал заключенным. Умер в лагере. Штрафной лагпункт был обнесен высоким тыном. На каждом углу была вышка с часовым. Жили заключенные в большом бараке с двухъярусными нарами. Барак был перегорожен и имел два выхода. В стенах были большие щели, ветер сильно дул, и все тепло, которое давали печи, вылетало в воздух. В одной половине барака помещались воры (законники), во второй «суки», работавшие на административных должностях. Но о них скажу ниже.

За зоной в земле находился изолятор. Это была глубокая яма — самое страшное место для заключенных. Мне как-то пришлось побывать в этом изоляторе за то, что я не в состоянии был выполнить норму на лесоповале.

На этом лагпункте были «свои законы» или, как здесь говорили, «законы тайги». Произволу комендантов, бригадиров, стрелков не было предела. Вот работает бригада в лесу. Случалось, кто кто-либо из заключенных по той или иной причине отказывался от работы. Стрелок приказывал заключенному стать обнаженным до пояса на пенек, руки назад. Летом заключенного буквально съедали тучи комаров, а зимой он замерзал до полусмерти. Никто за это не отвечал. По возвращении бригад с работы у зоны встречал нас комендант Богданов с нарядчиком и спрашивал бригадира:

— Кто не выполнил норму?

Достаточно было не дотянуть двух-трех процентов из ста, как этих людей уводили в изолятор и лишали дневного пайка. В изоляторе стояла вода по лодыжки. Отапливались камеры плохо. Однажды здесь угорели 7 заключенных. Но и это прошло безнаказанно для Богданова и Канашкина, который в это время был на девятке зав. медпунктом.

Зимой 1940 года завершилось строительство тракта Ухта — Крутая. Шло гравирование и пескование тракта. Морозы стояли очень сильные. Несмотря на то, что печь топилась всю ночь, в бараке было холодно. Постельных принадлежностей не было. Спать приходилось в одежде. Людей в бараке находилось мало: 30–40 при вместимости 80-100. От этого было здесь еще холоднее.

Гонг (удар о кусок рельса) поднимал нас в 4 часа утра. Этот звук отзывался в наших сердцах, как звон погребального колокола. Поев наскоро завтрак, состоявшей из горячей воды, заправленной ржаной мукой, выходили за зону, садились на грузовую машину, и нас отвозили на работу. Одеты мы были в ватные брюки, телогрейки, бушлаты, на ногах кордовые ботинки, на голове ватная шапка с ушами. Мороз сковывал не только тело,

но и мысли, сознание…

Проехав по такой стуже километров 40, мы не сходили с машины, а, окоченевшие, падали с нее, как чурки, хватались за совковые лопаты и с остервенением двигали ими, чтобы быстрее согреться.

Минут через 20–30 тело согревалось. Тогда оттаивал и язык, и люди начинали между собой разговаривать. За рабочий день нужно было сколоть 4 квадратных метра льда с полотна трассы до самого грунта.

Работа тяжелая. Орудиями производства были лом, кирка, лопата. Часам к 11 мороз крепчал, доходил до 50 градусов. Обогреваться у костров, которые жгли для охранявших нас стрелков, заключенным не разрешали. Однажды к полудню мороз достиг 55 градусов. Начальник нашего лагпункта, опасаясь массового обмораживания заключенных, приказал прекратить работы, и нас на двух машинах отправили в лагерь. В первой машине сидели уголовные «аристократы» во главе с бригадиром, одетые в хорошие валенки и полушубки, во второй мы, плохо одетые и обутые. На всей трассе горели костры. В воздухе была удивительная тишина. Лес, тянувшийся по обеим сторонам дороги, весь покрытый снегом, не шелохнулся. Но мороз сковывал сердце и тело. Особенно мерзли ноги. В машине нельзя было двигаться из-за большой скученности: 30–35 человек сидело на полуторатонке.

По дороге начальник лагпункта приказал остановить машины. Посмотрев на меня, он закричал:

— Ты же обморозил лицо, оно же все побелело. Слезай и три снегом.

Я последовал его приказу. Соскочили и другие, стали топтаться на месте, согревая ноги. Растерев лицо, я почувствовал, что мои руки сковало морозом, будто их зажали в стальные перчатки. От невыносимой боли я закричал, но, не теряя самообладания, тер руки. Стрелок, сидевший в кабине машины, протянул мне свой башлык, который очень мне пригодился. После этой поездки обмороженных оказалось человек 20. Я обморозил пальцы ног и пятку правой ноги. Но в амбулатории вместо медпомощи составили акт на всех обмороженных как на членовредителей. Однако, больные не могли нормально двигаться, а тем более ехать на трассу. Тогда была создана бригада из обмороженных. Ее посылали в ближайший лес рубить лозу, для какой цели — неизвестно. Думаю, чтобы просто не давать людям передышки и «доводить» их до конца.

Непосильный труд, оголтелый произвол действительно «доводили» некоторых заключенных, главным образом,

уголовников, до членовредительства. Вспоминаю такой случай. Зимой 1940 года наша бригада работала на лесоповале. Среди нас были и уголовники. Стоял сильный мороз. Днем к нам заявился зав. медпунктом Канашкин. Один из заключенных, молодой парень, попросил лекпома освободить его от работы, т. к. он чувствует себя плохо. Канашкин пощупал его пульс через рукав бушлата и сказал:

— Температуры у тебя нет, можешь работать.

Тогда больной взял топор, положил левую ладонь на пенек и, крикнув Канашкину «На, смотри, гадина», отрубил напрочь четыре пальца левой кисти. Канашкин невозмутимо подошел, перевязал ему обрубки пальцев и заставил его работать до конца дня. В последующие дни этот «саморуб» ходил с нами в лес и одной рукой собирал сучья.

При амбулатории лагпункта, где орудовал Канашкин, был небольшой стационар на 8 коек. Но здесь обитали здоровые уголовники, платившие лекпому по 50 руб. в месяц. Целыми днями с азартом резались они в карты.

Несколько слов о ворах и «суках». Это две непримиримые группировки в уголовно-воровском мире. Ворами называют себя не только карманники, ширмачи или домушники, совершающие домашние кражи, но и налетчики, бандиты, аферисты, фармазонщики, мокрушники, медвежатники (взломщики несгораемых касс), краснушники (воры, обкрадывающие железнодорожные вагоны) и другие.

Воры ни на какие административные работы в лагере не шли. Они называли себя «законниками» и не разрешали друг другу работать комендантами, нарядчиками, бригадирами, поварами, ларешниками, хлеборезами. Если же кто-либо шел на должность повара или хлебореза, то он обязан был кормить всех воров до отвала, иначе они изгонят его из своей среды или даже убьют. Воры не участвовали в самодеятельности.

«Суками» называют тех воров, которые переходили на сторону администрации лагеря или тюрьмы и занимали административные должности. Борьба между этими двумя группировками шла не на жизнь, а на смерть. Если на лагпункте преобладали воры, то плохо приходилось «сукам». Смерть подстерегала их на каждом шагу. Если же большинство было за «суками», то ворам нездоровилось.

Трудно сказать, какая судьба постигла бы нас на этом штрафном лагпункте с его жесточайшим произволом, если бы неожиданно не изменилась обстановка. К нам из Запада прибыл этап в составе 400 поляков. Сразу же улучшилось питание и медобслуживание. Из среды поляков были назначены врачи, и

штрафники растворились в этой массе. Уголовники, и особенно, администрация с вожделение смотрели на польский этап, где было много «бобров» (богатых), возле которых можно было поднажиться.

А поляки были одеты во все хорошее: костюмы, пальто, шляпы, носили красивую обувь.

Разместили их по баракам, довольно плотно на сплошных нарах. Одетые легко, не привыкшие к нашим морозам, они переступали с ноги на ногу, пританцовывая, повторяли: «жимно, пане, бардзо жимно».

Первое время поляков не водили на работу. Они только раз в день, в сопровождении конвоя, ходили в лес, в ста метрах от лагпункта, чтобы принести дров для отопления барака, где они помещались. Между прочим, делали они это до смешного неумело.

Среди польского этапа были разные люди из Западной Белоруссии, Западной Украины, Польши, Закарпатья. Наряду с врачами, инженерами, музыкантами, портными, сапожниками, крестьянами, были спекулянты, коммерсанты, буржуи, офицеры польской армии, а также воры, картежники.

Уголовники, пользуясь своей властью, скупали у поляков костюмы, пальто, обувь или за взятки устраивали их на легкие работы. Но начальство на это внимания не обращало. Вещи с бесконвойными переотправлялись за зону, там реализовывались и деньги пропивались. Вскоре поляков отправили на 8-й лагпункт. С ними вернулся сюда и я. Здесь, в 500 метрах от реки Ижмы, началось строительство нового лагпункта. Из заключенных нашего и 9-го лагпункта выделили строителей: плотников, столяров, слесарей, кузнецов, землекопов. Тут я познакомился с капитаном дальнего плавания Николаем Иосифовичем Лавруненко, прекрасным чутким товарищем, получившим незадолго до своего ареста орден Ленина за доставку сухого дока из Одессы во Владивосток. Лавруненко работал десятником на этом строительстве. Как гуманный, благородный человек, он относился по-человечески к заключенным.

На 8-м лагпункте был организован небольшой стационар на 20 коек, где лежали преимущественно обмороженные поляки.

Я снова был назначен в дезокамеру. Зав. медпунктом был новый человек — Илья Николаевич Тарасов, комсомолец, студент Ленинградского медицинского института, осужденный по ст. 58. По окончании строительства нового лагпункта, большая часть заключенных была направлена на сооружение сажевых заводов в 7 километрах от поселка Крутой. На строительстве этих заводов была сосредоточена большая масса заключенных всех

специальностей, до инженеров включительно. Уголовников среди них было очень мало. Представлены были здесь почти все народности Советского Союза. Русские, белорусы, поляки, грузины, армяне, кабардинцы, чеченцы, осетины, дагестанцы, евреи, немцы, узбеки, азербайджанцы, туркмены, таджики, даже бурят и ненец.

Я попал в бригаду кавказцев, бригадир которой был Масманян, армянин из Ливана. Он представлял в исполкоме Коминтерна арабскую и египетскую секции коммунистов, был арестован по подозрению в «шпионаже» и осужден на 15 лет.

Товарищ Масманян взял меня в свою бригаду дневальным. В бригаде было 30 человек. Все молодые, здоровые люди, не старше 40 лет. В обязанности дневального входило поддержание чистоты, тепла, получение талонов на завтрак, хлеба и обеда для всей бригады, а также и разные хозяйственные работы. Вторым ночным дневальным был Борис Канделаки, грузин. Здесь я проработал до 1942 года, после чего снова был возвращен на 8-й лагпункт. Отправили меня работать на завод, изготовлявший чурки для газогенераторных машин. Попал я в бригаду молодого сибиряка Леонида Михайлова из Абакана, бывшего младшего командира. Ко мне он относился, как к земляку. Моим напарником работал бывший председатель райисполкома Козлов. Он умер в лагере. Вдвоем с ним мы ежедневно перебрасывали до 40 кубометров чурки на расстояние 5–6 метров. Надорвавшись на непосильной работе, я был госпитализирован. Время было тяжелое. Количество больных росло с каждым днем. Из-за недоедания появилась элементарная дистрофия, пелагра, гемоколиты, крупозное воспаление легких и самое страшное — это ничем не удержимый пеллагрозный понос, от которого люди умирали. Не было медикаментов, питание плохое. Кормили супом из сушеных, вернее, пересушенных грибов, тушеной капустой из зеленых непромытых листьев и черным хлебом. Сахара не было, Стационар отапливался плохо, хотя дрова были в 100 метрах от лагеря. Чтобы согреть больных, их клали по трое на две койки. Тяжело больные лежали по одному. Люди умирали тихо, без шума, без жалоб.

Утром будили в 7 часов, но некоторые уже не вставали. Ежедневно умирало по 10–12 человек, главным образом, молодежь. Здесь у меня на руках умер майор Черепов. В 1941-42 гг. он попал в окружение к немцам, был в лагере для военнопленных в Смоленске. Оттуда он и еще два офицера бежали через фронт на Родину, но были осуждены каждый по подозрению в «шпионаже». Он с большой силой боролся со смертью, хотел жить, увидеться с семьей. Но смерть взяла свое.

Он умер на 31 году жизни. Я описываю подробно смерть Черепова потому, что это особенно несправедливая смерть. Черепов, которого немцы должны были уничтожить как коммуниста и еврея, совершил героический поступок — бежал из лагеря. Но, придя к своим, он был заподозрен в шпионаже в пользу фашистов. Это ли не ирония судьбы, это ли не издевательство над чувствами патриота и героя?

За несколько минут до смерти Черепова я подошел к нему и сказал: «Вам из дому посылка». «Теперь ужа поздно», ответил он и через несколько минут навеки закрыл глаза…

Умер на моих руках и другой молодой человек, 25 лет, студент Львовского университета Полянский. Он прибыл этапом после тюрьмы, исхудавший. Зав. стационаром, желая его немного поддержать, послал дежурить на больничную кухню. Через несколько дней Полянский заболел сильным гемоколитом. Несмотря на все меры, спасти его было нельзя.

Мне приходилось работать и в анатомке. Морг здесь находился за зоной в небольшом амбарчике с двумя окнами. Посредине стоял обитый жестью стол с подголовником, посредине отверстие для стока. Печи не было. Здесь вскрывали трупы. Как-то мне пришлось вскрывать труп бывшего богатыря по фамилии Кочубей. Я его знал, он работал бухгалтером лагпункта. Роста он почти двухметрового, косая сажень в плечах. Дизентерия свалила его за один месяц. При вскрытии сердце и селезенка оказались у него такие, как у 12-летнего мальчика. Это был результат элементарной дистрофии.

К концу 1940 года в нашем лагере осужденных по статье 58 начали назначать на руководящие работы по специальности. Они работали врачами, фельдшерами, медбратьями, инженерами, прорабами, десятниками, бригадирами. Немножко стало легче дышать.

После работы мы чаще всего встречались в бараке ИТР, т. к. здесь был самодельный репродуктор, и можно было слушать передачи из Москвы. После нападения фашистской Германии на Советский Союз по лагерю пустили провокационные слухи о том, что все осужденные по ст. 58 будут якобы уничтожены. Пустил этот слух молодой парень из осужденных, который работал в учетно-регистрационной части. По его словам, там с этой целью отобрали уже все формуляры на нас.

Настроение у всех, понятно, резко снизилось. Каждый задавал себе вопрос: за что? Но разум подсказывал, что этого не может быть. Здесь, видимо, провокация. И вот мы собрались небольшой группой и пошли к начальнику лагпункта сажзаводов капитану Шпайхеру. Тот нас внимательно выслушал и.

расхохотался.

— Идите, работайте, — сказал он, — это страшная провокация.

И затем добавил:

— Мы знаем, что вы советские люди, преданы нашей Родине, идите и передайте мои слова всем заключенным.

Зимой я заболел, и меня поместили в стационар. Им заведовал доктор Александр Леонтьевич Серебров, осужденный по фальсифицированному делу об «отравлении Горького». Тов. Серебров работал до ареста в кремлевской больнице. Сам он сибиряк, родом из Канска, окончил Томский университет, невропатолог. Во время болезни меня как-то вызвал доктор Серебров к себе в его маленькую комнату, где оказался и начальник 8 лагпункта Аристов. Человек немолодой, лет под 50, с симпатичным лицом. Расспросив меня, где я работал до ареста, он предложил мне заведовать хлеборезкой. Я заколебался было, т. к. во время войны хлеб был дороже всех ценностей. Люди недоедали, а уголовники готовы были задушить любого за пайку хлеба. Кроме того, я никогда в жизни не соприкасался с материальными ценностями и торговлей. Но после уговоров начальника и врача я согласился.

Хлеб завозили из пекарни, которая находилась на другом лагпункте. Нарядчики, которые распределяют людей, мне в хлеборезку прислали сторожем какого-то горбатого вора, смахивающего на Квазимодо из «Собора Парижской богоматери» Виктора Гюго.

Вскоре, явившись утром на работу, я увидел зияющую пустоту на полках, где лежал хлеб, и при раздаче нехватило около 100 паек.

Было ясно, что меня обокрали. Не скрою, что я готов был в ту минуту залезть на чердак и там удавиться. Пришли начальник снабжения, бухгалтер, сняли остатки и выявили недостачу — 90 кг хлеба. От потрясения я заболел и снова был госпитализирован. Начальник лагпункта Аристов приказал не возбуждать уголовного дела, т. к. он был уверен в моей невиновности.

После этой кражи хлеба я отказался работать в хлеборезке, и начальник ОЛПа, будучи убежден в моей добропорядочности, приказал списать уворованный хлеб. Было ясно, что это дело рук сторожа, который воровал хлеб и снабжал воров и нарядчиков. Я продолжал лечиться в стационаре и начал здесь работать завхозом.

Шла весна 1943 года. С фронтов шли невеселые вести. У меня было много хлопот: надо было очистить территорию стационара

от нечистот, накопившихся за зиму в большом количестве. В виде компенсации за труд больным выдавалось лишних поллитра жиденькой баланды.

В стационаре, кроме больных дистрофией и пеллагрой, асцитом, лечились и страдавшие цингой, разрыхлением и кровотечением из десен. Цинготникам ежедневно выдавали 2 столовых ложки проросшего гороха с настоем хвои и 5 граммов растительного масла. Страшная болезнь цинга. Сам я испытал ее на себе. Почти все зубы вытащил без помощи врача, ноги сгибало, они отказывались повиноваться. Весь организм ослабел, тянуло ко сну, на ногах появлялись язвы. Лечить было нечем.

— Хотите жить? — спросил меня однажды врач из закарпатских чехов.

— Да, — сказал я.

— Не лежите. Ходите по территории лагеря через силу, напрягайте всю вашу волю, заставьте ноги двигаться.

И вот я начал ходить, вернее, втягиваться в ходьбу, со стоном и слезами, но двигался. С каждым днем передвигался все лучше и лучше, пока они не стали ходить «по человечески».

Вскоре чешских подданных, гуцулов, поляков начали освобождать и направлять в формирующиеся на территории СССР воинские части для борьбы с Гитлером. Я тоже написал на имя Сталина заявление, в котором просил направить меня на фронт. Но вместо фронта попал в тюрьму. А случилось это так.

Летом 1943 года, под вечер, как-то вызывает меня начальник УРЧ Иванова. Она, врачи, сестры были уверены, что увозят на фронт. С другими заключенными — закарпатцами меня доставили в Ухту. Машина остановилась там возле одного лагпункта, где на вывеске значилось «ОП» — оздоровительный пункт. Все вошли туда. Меня же туда не пустили. Два стрелка стали у меня по сторонам и приказали идти вперед по улице. Шли через весь город. И тогда у самого его конца стояло несколько двухэтажных рубленых домов. Старший конвоир зашел в один из домов, чтобы передать там пакет. Вышел он оттуда только через час.

И скомандовал мне: «Вперед по шоссе». Вышли мы за город. Уже вечерело. По обеим сторонам дороги лежало зеленое поле, огороды, вдали виднелся лес. Впереди я увидел вышки, на которых стояли стрелки. По их расположению и крышам строений я узнал пересыльный пункт на горе «Пионер», где мне уже приходилось однажды в 1939 году ночевать. У меня заискрилась надежда. Вероятно, ведут на пересылку для отправки в Москву. Чем ближе подходил я к этому зданию, тем слабее становилась надежда. Слышен был собачий лай, хорошо стали

видны сооружения: ворота, вахта. Передо мной настоящая тюрьма.

Вхожу в ворота. Знакомая процедура. Ведут в здание. Дежурный принимает пакет, к которому приложена моя персона. Конвой уходит. Мне приказывают раздеться догола. Производят тщательный обыск, заглядывают даже в рот. Затем меня выводят во двор к небольшому деревянному домику, так называемому одиночному корпусу. Дежурный быстро вталкивает меня в камеру, запирает дверь.

Камера небольшая с низким потолком. Окно с решеткой выше головы, две железные койки. Столика нет. У входа «параша», за дверью тусклая электрическая лампочка. На одной из кроватей сидел мужчина средних лет, одет не по лагерному. Сев на койку, я сбросил с себя кожаные ботинки, которыми натер себе кровавые мозоли на ногах. Я был подавлен. Мучила мысль: за что я снова в тюрьме? Неужели из-за украденного ворами хлеба? Между тем, месяца два назад на наш лагпункт приезжал пом. уполномоченного лагеря и допрашивал меня по поводу недостачи хлеба. Я ему рассказал все, как было, и он заявил, что привлекать меня к ответственности нет оснований.

Мой сосед по камере был механиком с какой-то нефтешахты по фамилии Прокушев, по национальности коми. Его арестовали, так он сказал, за вредительство, выразившееся в какой-то поломке на шахте. Надо сказать, что мне он сразу не понравился. Своим чутьем чекиста я почуял, что это провокатор. Его нарочно посадили ко мне, чтобы выявить мое настроение.

Итак, я сидел на койке, разглядывал свои окровавленные ноги и молчал. Первым заговорил Прокушев.

— С какого лагпункта?

— С 8-го.

— Что передают по радио?

— Не знаю, радио не слушал.

— У вас же на 8 лагпункте есть радио, как же ты не слушаешь.

Я поднялся, подошел к нему и, посмотрев в его бегающие глаза, сказал:

— Если ты, собака, будешь еще меня спрашивать, я тебя изобью, провокатор, — отошел и сел на свою койку.

Он как-то сжался, размяк, начал что-то лепетать. Я снова повторил: — Не спрашивай, я с тобой говорить не буду.

Вскоре я разделся, лег и уснул.

Утром я попросил надзирателя увести меня в амбулаторию, чтобы перевязать протертые до крови ноги. Но было воскресенье, и амбулатория не работала. Весь день в одиночке прошел в

молчании. Днем вывели на прогулку на 30 минут. Ходил босиком.

Наблюдая за Прокушевым, я обнаружил в нем какие-то звериные повадки.

В часы, когда в коридоре разносили обед, он буквально прилипал к двери и весь был поглощен доносящимися оттуда звуками: бряцанием мисок, ложек. Когда открывалась форточка, и надзиратель на подносе подавал две миски с супом, то Прокушев молниеносно хватал ту миску, где еды было больше. Ел он, как голодный зверь, чавкал, как свинья. Все время смотрел, не останется ли что-нибудь в моей миске.

В понедельник я снова потребовал, чтобы меня повели в амбулаторию. Часов в 12 дня я, наконец, попал туда. Помещалась она в одной из камер главного корпуса. Вел прием больных плотный, среднего роста пожилой человек. Это был зав. амбулаторией, фельдшер. После отбытия 10 лет в Ухте по ст. 58 он был оставлен здесь на вечное поселение. Звали его Виктор Петрович, фамилии не помню. Родом с Украины. Этот высокогуманный человек, несмотря на внешнюю суровость, много хорошего сделал для заключенных, в том числе, и для меня. Мои раны он осмотрел очень внимательно и тщательно перевязал их. На 5-й или 6-й день моего пребывания в одиночке вызвали моего соседа Прокушева. Долго его не было, и, наконец, он появился в мрачном настроении. На следующее утро его увели с вещами. Видимо, не справился он со своим заданием.

Остался я один. Прошла неделя, другая. Меня перевели в общую камеру. Там сидел заключенный по ст. 58 грузин Георгадзе. На допрос меня не вызывали. И хотя я написал заявление об этом на имя начальника 3 отдела Ухтлага МВД Леонова, в нарушение процессуальных норм уголовного кодекса, меня вызвали на допрос только через 20 дней пребывания в тюрьме. С большим трудом из-за больных ног я добрался до 2-го этажа, где помещался кабинет начальника 3 отдела майора Дьякова. В кабинете были двое: начальник 3 отдела Леонов (впоследствии был расстрелян как подручный Берия) и его заместитель Дьяков.

— Мы знаем, что вы старый чекист, — сказал Дьяков. — Активно участвовали в борьбе за Советскую власть, но свихнулись и стали участником контрреволюционной организации. Считаете ли вы, что осуждены правильно?

Я ответил:

— Никогда я ни в каких организациях контрреволюционных не состоял, а, наоборот, всегда боролся со всеми врагами Советской власти и считаю, что осужден неправильно.

Дьяков:

— Значит, вы считаете, что Военная Коллегия Верховного Суда СССР осудила вас неправильно? Тенденциозно?

— Да, считаю, что коллегия не разобралась или не хотела разбираться в материалах следствия.

Дьяков:

— Значит, советский суд неправильно судит?

— Не советский суд, а люди, которые должны судить правильно.

Мои ответы явно не понравились Дьякову, и он заговорил со мной в резком тоне:

— Вы на ОЛПе связаны с бандитским элементом и пользуетесь у них авторитетом.

Это заявление вызвало у меня улыбку. Я, бывший начальник уголовного розыска, старый чекист завоевал авторитет у бандитов, с которыми вел беспощадную борьбу!

— Это абсурд, — сказал я. — Работаю в стационаре, с уголовниками дел не имею. Об этом и зав. больницей, и начальник ОЛПа знают. А вообще, что вы от меня хотите?

Глава 4. ВОРКУТА

Наконец, через три дня прибыли в Воркуту в лагерь. Собственно, здесь было два лагеря. Воркутлаг, где на обыкновенном режиме содержалась бериевская «социально-близкая прослойка»: бандиты, воры, власовцы и т. п., и имелся свой начальник «Воркутуголь», и Речлаг — особорежимный лагерь. Никакой речки там не было и в помине, а название лагеря после его расшифровки означало: «режимный чрезвычайный лагерь».

В Речлаге находились коммунисты, комсомольцы, преданные советские люди. Правда, была и часть власовцев, бендеровцев, но немного. Уголовников почти не было.

Когда мы прибыли в Воркуту, нас долго держали на путях. Затем доставили на пересылку. Оттуда начали направлять на шахту. Вместе со мной сюда прибыли старые товарищи по московскому этапу: Озеркин, Захаров, Езерский, Разумова Анна Лазаревна. Должна была пойти с нами Андреева (Ошихмина) Александра Азарьевна, старая большевичка, но ее, больную, с большим трудом удалось оставить на ОЛП-7 в больнице.

На пересылке уголовники ограбили кое-кого из нашего этапа. Мы заявили начальству, но вещей не нашли. Наутро построили наш этап и повели его к вагонам, стоявшим на путях местной железнодорожной ветки. Шли с вещами. Впереди меня шел Николай Иосифович Гладков, бывший артист театра им. Вахтангова, осужденный во время войны в Москве. Мы несколько отстали от основной группы. Позади нас шли конвоиры и, видя, что нам страшно тяжело таскать свои вещи, кричали: «Вперед, вперед, фашисты» и науськивали овчарок. Сердце билось учащенно, одышка. Гладков замедлил шаг и говорит: «Не могу, Павел, умру, упаду, задыхаюсь». Я ему: «Ну, еще немного, до состава дойдем». А конвоир кричит: «Бегом».

Кое-как дошли до состава, состоявшего из 4 вагонов. Вечером вагоны подцепил паровоз, и долго кружили мы по окружной дороге Воркуты. Где-то останавливались, кого-то сгружали, снова двигались и, наконец, ночью нас выгрузили на шахте № 29.

Подошли к вахте. Бараков не было видно. Торчали из-под снега только одни трубы. Надзиратели повели нас по вырытому в снегу коридору.

Дошли до бараков. Ни окон, ни стен, ни дверей. Все занесено снегом. К дверям в снегу вырыт ход, оттуда идет пар. Раздалась команда «Входи по одному». Мы вошли.

Большой двухсекционный барак, пустой, не обжитый, не

отопленный, на стенах и потолках иней. Загнали всех в одну секцию. Вошли надзиратели, молодые люди из войск КГБ. Скомандовали: «Раздевайся догола». Обыскали нас, заглянули даже в рот. У меня была подшивка «Огонек», присланная еще из дома в Ухту. Забрали ее и не вернули. А на мою жалобу пригрозили карцером.

Мы полагали, что после обыска или «шмона» как говорили надзиратели, нас поместят в теплый барак. Но, увы. Нас вывели из одной секции и через вестибюль ввели в другую секцию этого же барака, не обжитую, холодную, покрытую инеем.

— Вот здесь располагайтесь, — сказал комендант.

Был назначен староста, дневальные, которые пошли за углем, чтобы растопить печку. У «старых тюремщиков» вроде нас, просидевших уже лет по 12, была постель, и мы кое-как могли согреться. Новички же, набора 1945-50 гг., думали, что им постель принесут на блюдечке. Пришлось им устраиваться на голых досках. Перед сном пили чай, согретый из талой снеговой воды.

В карантинном бараке мы прожили 10 дней. Затем нас распределили по баракам и бригадам. Жизнь на шахте № 29 была очень тяжелой. Шахта не благоустроенная, душевых не было. Люди приходили с работы усталые, грязные и в таком виде, одетые, ложились спать на трехъярусных нарах. Почти не отдохнув, мы утром рано такие же грязные отправлялись на работу. Режим был здесь исключительно строгим.

На этой шахте я пробыл около месяца, затем был составлен этап из больных и полубольных заключенных и направлен на шахту № 6. Эта шахта была старая, обжитая, население ее составляло 2500–3000 человек.

Здесь имелась столовая, клуб, библиотека, бараки, изолятор, парикмахерская, сапожная и другие службы. Но режим также был строгий. Окна на бараках были в решетках, на дверях замки. Бараки состояли из двух секций. Вместо сплошных нар — вагонки двухъярусные, постель: матрац, одеяло, простыня, подушка. В отличие от шахты № 29, здесь была баня, обширная, даже с паром, а на шахте душевые. Чистота стояла на высоком уровне. Шахта работала круглые сутки. Круглосуточно работала и столовая. Имелась амбулатория и 6 стационаров. После ухода заключенных на работу бараки закрывались на замок. Каждый заключенный получил кусок материи шириной 8 см, на котором был написан краской номер заключенного. Материал вшивался в рукав куртки и в левую штанину выше колена. Мой номер был 565. Его я не забуду, пока жив буду.

В день приезда на лагпункт мы в бане прошли санобработку и

дезинфекцию вещей. Тут же заседала врачебная комиссия, состоявшая из 4–5 врачей.

Я подошел к врачу-грузину. Мягко, вежливо, по-человечески спросил меня, на что я жалуюсь. Я указал на сердце. Он послушал, спросил, сколько мне лет и сколько лет я уже в заключении. Он наклонился к начальнику санчасти и что-то ему сказал, а мне предложил одеться. Затем меня отвели во второй стационар и уложили на койку. Вечером меня вызвали в приемную врача. Я узнал его имя — Давид Филимонович Квиташвили. Был там еще один врач Христов или Христолюбов, фельдшера, санитары. Меня лечили, а я немного помогал им как медбрат. После того, как я выписался из стационара, меня назначили в баню, где смотрел за купающимися и проводил санобработку их.

Помимо решеток на окнах и замков на дверях, в нашем Речлаге был изолятор, куда любой надзиратель мог водворить заключенного по любому своему капризу. Был еще «институт» так называемых помощников по быту, состоявший исключительно из уголовно-бандитского элемента. На их обязанности лежала забота о снабжении порученных им бригад обмундированием, постельными принадлежностями и т. д., а самое главное — информировать оперуполномоченного о выявленной им крамоле среди заключенных. Доносы этих негодяев принимались за чистую монету, и людей судили, ссылали на штрафные лагпункты, добавляли годы заключения.

Начальником 6 шахты был некий Горбунков, инженер в звании майора. Алкоголик, пил без просыпу. На шахте были несчастные случаи — обвалы породы и гибель людей, а Горбунков звонил по телефону начальнику лагпункта подполковнику Жилину:

— Сообщаю, сего числа на шахте № 6 при обвале породы задавлено 2–3 врага народа.

Проверка проводилась не до отбоя, как в других лагерях, т. е. в 8 или 9 часов вечера, а тогда, когда люди спали после тяжелого труда. Глубокой ночью открывались двери барака, и раздавался крик: «Встать, построиться по 5». Люди со сна не могли сразу построиться, за что получали подзатыльники. Иногда выгоняли на улицу строиться перед бараками в одном белье и ботинках на босу ногу.

С каждым днем режим на лагпункте становился жестче. Начальником Речлага УГБ был генерал-майор Деревянко, бериевский ставленник. При посещении шахты Деревянко окружал себя большой свитой. На жалобы заключенных не обращал внимания, а за малейшую провинность сажал в

изолятор, карцер.

Писать разрешалось два письма в год, и те не доходили до адресатов.

На нашем лагпункте была цензором женщина. Это настоящее исчадие ада, ненавидевшее людей, а нас, заключенных по ст. 58, в особенности.

Почти все письма рвала и сжигала.

В Речлаге были свои законы. Там не освобождали заключенных, у которых истекал срок, определенный им приговором суда. Меня должны были освободить в 1953 году. Спрашиваю начальника УРЧ об этом. Он мне отвечает: «Когда найдем нужным, освободим». Несколько дней спустя к нам приехал прокурор Речлага. Я обратился к нему с тем же вопросом.

Он на меня посмотрел и сказал: «Идите, когда надо будет и мы найдем нужным — освободим». Я ему говорю, что по приговору я должен быть освобожден, а он мне снова отвечает: «Это зависит от нас, пока идите».

Как-то мы спросили начальника лагпункта подполковника Жилина: «Зачем нас из Ухты этапировали в Речлаг, ведь мы все честно работали, никто из нас не отказывался». Этот бериевский сатрап спокойно ответил: «Вас сюда привезли, чтобы похоронить всех в тундре».

Надо сказать, что в Речлаге были осужденные по статье 58, которых можно было не посылать в лагеря, а расстреливать на месте. Это власовские офицеры, бендеровцы, гитлеровские каратели, СС-овские офицеры и другие палачи, расстреливавшие многих советских людей, партизан и военнопленных. Были осужденные и на вечное заключение, как начальник блока из лагеря Бухенвальд. В одном из стационаров в связи с эпилепсией лежал молодой немецкий СС-овский офицер, служивший у генерала Роммеля под Тобруком в Северной Африке. Попал в плен к англичанам. Свою болезнь он объяснял тем, что при взятии его в плен английский врач якобы ввел ему какой-то яд в мозжечок. Правда ли это, я не знаю. Но припадки бывали у него по несколько раз в день.

Несмотря на то, что его лечили, кормили, ухаживали, он оставался ярым гитлеровцем, остро ненавидел Советскую власть, коммунистов, русских людей. И вот к таким человеконенавистникам бериевские молодчики были более чем гуманны. К ним относились несравненно лучше, чем к нам, честным советским людям.

Март 1953 года. По радио сообщили о болезни Сталина. Все насторожились. 5 марта по радио сообщили, что Сталин умер. Выслушали мы это молча. Охрана лагеря была усилена, на

вышках стояли пулеметы.

9 марта в день похорон Сталина шахта не работала, бараки были на замке. Началась передача похорон по радио. Все собрались в вестибюле у репродуктора. Никто не проронил ни слова. У каждого были свои думы, каждый ожидал, что же будет дальше. После окончания передачи о похоронах бригады вышли на работу. Режим оставался строжайшим. Неожиданно для всех было передано по радио сообщение, что Берия и вся его банда разоблачена ЦК КПСС и арестована. В числе арестованных был и мой «крестный отец» — начальник следственной части КГБ Володзимирский. Вместо Берия был назначен Круглов. Посыпались сразу тысячи жалоб с каждого лагпункта на имя ЦК, прокуратуры республики.

Но режим пока оставался без изменения. По-прежнему к нам относились хуже, чем к уголовникам и всяким изменникам Родины.

В январе 1954 года я написал в ЦК КПСС подробную жалобу по моему делу и просил о пересмотре его. Через месяц получил сообщение, что моя жалоба передана в Главную военную прокуратуру для проверки.

А в июне 1954 года в Речлаге произошли большие события. Был жаркий воскресный день. Всех нас закрыли на замок в бараках, где мы томились от жары и духоты. Вокруг зоны ходили овчарки. Против каждого барака за проволокой окопчик и станковые пулеметы, жерла которых были направлены на наши окна.

Вдруг днем мы услышали выстрелы автоматов. Стало ясно, что на какой-то шахте применили оружие. Это была, как оказалось, шахта № 29. Только несколько лет спустя мы узнали подробности этих кровавых событий. Утром с работы на шахте должна была вернуться в зону 3-я смена.

Вторая смена готовилась идти на работу, а первая уже находилась в шахте. Выйдя из шахты, люди собрались у ворот, чтобы пойти на лагпункт. Подождав у вахты около часа, они потребовали конвой для сопровождения их на лагпункт. На это дежурный ответил: «Сейчас закончат партию в домино и отведут вас, гадов». Услышав такой ответ, люди ушли в здание шахтоуправления. Увидев это, конвой бросился за ними и стал их выгонять назад на вахту. Люди стали роптать: «Мы хотим кушать и отдыхать, а нас гоняют, как собак». Узнав об этом, первая смена прекратила работу и вышла на поверхность. Собрав 3-ю смену, конвой повел ее на лагпункт. Вторая же смена, находившаяся на лагпункте, от выхода на шахту отказалась. Около 5 часов вечера на лагпункт прибыл генерал-майор Деревянко, приказал собрать

всех заключенных и спросил их о причине отказа выйти на работу. Несколько заключенных ответили, что конвой и надзорслужба относятся по-зверски к заключенным, допускают побои, издевательства, без всяких оснований сажают в карцер, запрещают переписку с родственниками по нескольку лет, не дают свиданий. Все носят позорные номера на одежде, их держат под замком, на окнах решетки. Многие воевали за Родину. Прошли от Москвы до Берлина, есть и командный состав, а здесь издеваются над ними. Когда же, наконец, все это прекратится?

Генерал Деревянко ответил, что он ничем помочь не может, т. к. не имеет полномочий из Москвы. Может только разрешить писать письма, и все. Ему ответили, что до приезда правительственной комиссии из Москвы никто на работу не выйдет.

На лагпункте № 29 находились около 6000 заключенных. Они создали комитет, в обязанности которого входило поддержание порядка и переговоры с начальством. Во время вечерней проверки надзирателям заявили, чтобы они больше в зону лагеря не заходили. Сюда могли заходить только начальник лагпункта и начальник снабжения. Внешняя охрана за зоной была усилена пулеметами.

Комитетом было составлено письменное заявление, содержавшее следующие требования:

1. Снять решетки с окон бараков и замки с дверей.
2. Разрешить личные свидания с родными, женами, детьми.
3. Прекратить издевательское отношение конвоя и надзорслужбы к заключенным.
4. Снять позорные номера с одежды.
5. Дать свободу заключенным.

На лагпункте были вывешены плакаты, на которых было написано: «Здравица Советскому правительству, дадим Родине больше угля».

Спустя неделю было объявлено, что прибывает правительственная комиссия. На лагпункте царил полный порядок. За два часа до прибытия комиссии на лагпункте появились полковник и майор, которые объявили, что к часу дня все заключенные должны собраться на площади. Были выставлены столы и стулья. Комиссия прибыла в составе генерала армии, зам. министра госбезопасности Масленникова, генерального прокурора Руденко и зам. министра юстиции (фамилию не помню). На лагпункт Масленников войти отказался и приказал всем заключенным подойти к вахте. За зоной построились автоматчики. Все подошли к вахте, и комиссия вошла в зону лагпункта. Масленников заявил, что будет только

отвечать на вопросы. Кто-то из заключенных указал ему на плакаты, вывешенные у вахты, где были изложены требования заключенных. Масленников спросил, как заключенные понимают слово «свобода». Кто-то объяснил, что речь идет о том, чтобы мы до полного освобождения работали на шахтах, как ссыльные, и могли привезти сюда свои семьи. Масленников ответил: «Как не сразу всех посадили, так не сразу всех отпустим». Кто-то из заключенных пытался выступить с речью, но Масленников отказался слушать. Поэтому переговоры закончились. Когда Масленников уходил, мы сказали ему: «Как видно, наше правительство не знает о произволе и издевательстве, творящихся в Речлаге, не знает, сколько людей здесь невинно погибло, и Сталин, наверное, ничего об этом не знал». На это Масленников ответил: «Они все знали».

Комиссия уехала в Воркуту, так и не ответив заключенным на интересовавшие их вопросы.

На третий день около 8 часов утра большая группа войск КГБ, примерно 700–800 человек, вооруженная автоматами, заняли помещение охраны. А затем они построились, промаршировали с песнями вдоль лагпункта и окружили его. За зоной стояли 4 машины скорой помощи, 2 пожарные машины. Надзиратели вдруг стали набрасываться на заключенных и арестовывать их. В этот момент генерал армии Масленников, стоявший на машине за зоной, поднял пистолет и выстрелил вверх. Со всех сторон был открыт огонь из автоматов. Стреляли разрывными пулями. Было убито и ранено около 200 человек. Машины въехали в зону, на них сажали заключенных, а раненых помещали в двух освобожденных для этой цели бараках. Всего из лагпункта вывезли около 800 человек.

Несмотря на расстрелы, на работу никто не выходил.

Спустя несколько дней, поздно ночью неожиданно открылись ворота барака и нам объявили приказ, полученный из Москвы: снять с одежды номера, снять решетки с окон и замки с дверей. Ликованию не было предела. Мы срывали тряпки с номерами, бросали их на землю. Их было много, более 3000, так что земля, усеянная этими тряпками, показалась коричневой. Вывесили плакаты с указом Президиума Верховного Совета СССР о льготах для заключенных.

Утром все пошли воодушевленные на работу в шахты.

Через некоторое время стало известно, что генерал армии Масленников покончил жизнь самоубийством.

На лагпункты приехали офицеры из политотдела управления лагеря. Стали устраивать в клубе лекции, вести разъяснительную работу, появились центральные газеты, были организованы

читальни, курсы по техминимуму, школы общего образования. Кроме обычной столовой, была открыта коммерческая, где можно было питаться за наличный расчет. Начали выдавать на руки часть заработанных денег, а остальные на лицевой счет. Шахтеры хорошо зарабатывали. За зоной были построены гостиницы для приезжающих родственников. Там разрешали свидания на 7 и больше дней.

Начали освобождать малолеток, т. е. тех из заключенных, которым к моменту ареста было 16–17 лет. Таких было много, и особенно «западников».

Но во главе управления речлага, отдельных лагпунктов, шахт оставались еще бериевские ставленники, которые, хоть и притаились, но никак не могли пересилить свою волчью натуру.

13 августа 1954 года вечером меня вызвали в УРЧ и сообщили, что рано утром меня отправят на пересылку на освобождение. Утром после бессонной ночи встал нервно возбужденный. Шутка сказать, после 16 лет за проволокой, и вдруг на волю! От семьи более 3 лет не было писем, их просто уничтожали.

Я вышел с небольшим самодельным чемоданчиком, подушкой и одеялом, да еще с расстроенной сердечной деятельностью. Это все, что я заработал в лагере. У вахты стояло несколько близких товарищей, пришедших меня проводить. Я вышел за зону в сопровождении конвоира, у которого не было никакого оружия.

Теперь я понял, что уже не арестант, и дышал глубже, свежим утренним воздухом.

Подошли к остановке поезда на окружной дороге, вошли в вагон, поехали. На одной из остановок сошли, и я был доставлен на пересыльный пункт, откуда должен был проследовать на освобождение.

Но…

На пересылке собрали много людей. Тут были и уголовники, отбывшие срок и следующие прямо на волю. Снова фотографировали в анфас и профиль. Воры, освобожденные, пытались отобрать вещи у осужденных по ст. 58, но получили сокрушительный отпор, были избиты и выброшены из бараков.

Наконец, через 10 дней пребывания на пересылке, меня и еще 3 товарищей высадили у комендатуры 6 района города Воркуты, рядом с той шахтой № 6, на которой я работал. Комендант района держал в руках мой формуляр и копию приговора.

— Что, шпионажем занимался, враг народа? — сказал он мне.

— Я гражданин Советского Союза, отбыл срок, кроме этого, написал жалобу в ЦК партии по своему делу, — ответило я.

— Поменьше разговаривай, вы все пишете, фашисты, — говорит он.

— Вам никто не давал права оскорблять, я коммунист был и буду им, — говорю я.

— Вот дашь подписку, что остаешься в ссылке в Воркуте, навечно.

Он подал мне напечатанную стандартную подписку такого содержания: «Остаюсь на вечную ссылку, в случае нарушения буду осужден на 25 лет заключения».

Несмотря на то, что оберфашист Берия и вся его авантюристическая шайка были расстреляны, оставшиеся на окраинах его верноподданные творили произвол. Вначале я, было, отказался подписывать эту бумажку, но потом, решив, что ничего вечного нет на земле, я расписался.

Но этот маленький фюрер районного масштаба не стерпел, что я разговаривал с ним не как заключенный, а как гражданин Советского государства.

— Будешь каждый день приходить на регистрацию в комендатуру, а если пропустишь один день, будем судить, как за побег. А теперь можешь идти, куда хочешь, — заявил он.

Я вышел из комендатуры часа в 4 дня. Как сейчас помню, была суббота.

С вещами в руках побрел я по шоссе по направлению к 6-й шахте. Накрапывал дождь, идти было скользко. По дороге меня нагнал молодой человек, поздоровался и спросил, кто я и куда следую. Я ему рассказал. Он мне предложил пойти к нему на квартиру в поселок шахты.

Он оказался бывшим заключенным, а сейчас вольнонаемный, литовец, инженер. Привел он меня к себе в комнату, накормил. Сам ушел, сказав, сказав, что часа через 2–3 вернется. Я лег спать.

Вспомнил, что в 7-м районе, километрах в семи от шахты № 6 живут тоже в ссылке освободившиеся на год раньше меня мои хорошие друзья, врачи Давид Филимонович Квиташвили и Аскар Рафикович Рахманов. Мой гостеприимный хозяин проводил меня до остановки автобуса. Доехав до остановки 7 района, но, не зная, где живут мои друзья, я направился в поликлинику. Там мне сказали, что они должны быть здесь через полчаса к началу вечернего приема. Я вышел на улицу. Не верилось мне, что я, хотя и в ссылке, но не вижу возле себя конвоя, надзора, начальства барака.

Квиташвили, увидев меня, ускорил шаг. Мы обнялись, расцеловались. Он повел меня в столовую, угостил обедом. В поликлинике встретили Рахманова. Снова объятия. После приема больных Рахманов пригласил меня к себе. Жил он один в

благоустроенной квартире. Вечером собрались все друзья за общим столом. В понедельник поехал в 6-й район в комендатуру на отметку. И так каждый день, несмотря на непролазную грязь, дожди, мне приходилось ездить в комендатуру на отметку.

Встретил я в Воркуте Николая Захарова. Он уже был полностью реабилитирован и собирался домой в Ростов-на-Дону. Там же в Воркуте, на улице, встретил из нашего этапа Алексея Озеркина. Он шел с женой, которая приехала сюда после его освобождения. Жили они на окраине Воркуты в маленькой низенькой мазанке, которую он слепил своими руками. Он тоже был уже реабилитирован и собирался домой в Москву.

Из комендатуры 6-го района я перевелся в комендатуру Воркуты. Комендантом района был здесь лейтенант, культурный человек, и с нами, ссыльными, разговаривал по-человечески. На регистрацию я уже ходил раз в 10 дней.

Зима 1954-55 года в Воркуте была особенно холодной. Я жил у одного приютившего меня ссыльного инженера-строителя, поляка из Западной Белоруссии. Комната плохо отапливалась, и я, несмотря на свое крепкое еще здоровье, серьезно заболел гриппом на пороге своего полного освобождения и реабилитации. Лечили, как могли. При температуре 38 и выше приходилось самому ходить в магазин покупать себе еду.

Глава 5. ОСВОБОЖДЕНИЕ

Числа 7–8 февраля вызвал меня комендант района и сообщил мне, что я реабилитирован и могу ехать, куда хочу. В этот вечер температура поднялась до 39 градусов. Голова кружилась. Комендант назвал меня товарищем. Это впервые после 17-летнего заключения, где я считался врагом народа, фашистом, узником № 565. Я почему-то спросил его: «А можно мне подать телеграмму семье, что я освобожден?»

— Конечно, товарищ Дворкин, идите на телеграф и подавайте телеграмму, а завтра пойдете в УГБ, где вам объявят постановление Военной Коллегии Верховного Суда СССР о пересмотре вашего дела.

Поблагодарив его, я пошел, гонимый пургой, на телеграф. По дороге зашел в магазин, взял две бутылки красного вина, и в обществе инженера ознаменовал свое освобождение. К утру температуру я сбил большими дозами жаропонижающего и пошел в УГБ. Там я ждал недолго. Меня вызвал молодой старший лейтенант и дал мне прочитать постановление Военной Коллегии Верховного Суда СССР о 12 января 1955 года. Там было очень подробно изложено, что показания против меня моих однодельцев были вынужденными, добытыми запрещенными методами допроса, что я, как на следствии, так и на суде в 1939 году виновным себя не признал, а поэтому дело эа отсутствием состава преступления прекратить. Меня от ссылки освободить.

В постановлении было еще много написано, но, откровенно говоря, я всего не мог читать, т. к. слезы обиды за пропавшие годы застилали глаза. Я только сказал этому сотруднику: «А все же наша партия восстановила справедливость!» Он молчал. Я расписался на постановлении и ушел.

10 февраля я получил паспорт в воркутинской милиции. Ни билета, ни денег на дорогу мне не дали. Провожал меня на вокзал тов. Езерский Филипп, работавший в Воркуте в управлении автотранспорта, в то время еще не реабилитированный.

Чувствовал я, из-за болезни и нервного возбуждения, что как будто нахожусь в какой-то прострации, в угнетенном состоянии, безразличном отношении ко всему. Не доехав до Котласа, я почувствовал, что мне нечем дышать. Вышел на площадку. Проводница вагона заметила мое состояние и участливо предложила сесть на откидную скамейку в тамбуре. Мне было плохо. Приехали, наконец, в Котлас. Снова увидел этот город через 16 лет, но в другом уже качестве. Я пошел в медпункт, где

мне сделали укол кофеина. У меня была пересадка на Киров в Котласе, но только через 12 часов. Пошел в гостиницу. Меня поместили в общежитие, где было 12 коек. Лег, и снова мне стало плохо. Встал, подошел к администратору, женщине и попросил вызвать скорую помощь. Эта женщина, с лохматым сердцем, обратилась ко мне с претензией: «Зачем вы сюда пришли, умирать, что ли? Отвечай за вас!» — Но я вас прошу, мне очень плохо.

Наконец, она позвонила. Через несколько минут вошла женщина-врач, внимательно осмотрела меня, расспросила откуда. Я ей коротко все рассказал. Она меня одела, вывела из гостиницы, посадила рядом в машину и отвезла в поликлинику. Там мне ввели камфору. Полежал я там часа два и пошел на вокзал. Сел в поезд на Киров. Не доехав до Кирова, я снова пережил приступ, приступы повторялись в Свердловске, Тюмени. Наконец, с 17 на 8 февраля в 4 часа утра я прибыл на станцию Омск, где меня встретила семья.

В 14-метровой комнате, где жила моя семья, состоявшая из 5 человек, собралась вся родня. Многих я не застал. Два брата погибли — один на фронте, другой в пограничных органах, 7 двоюродных братьев и племянников было убито на войне.

Грипп сделал свое дело, болезнь дала осложнение на сердце.

Находясь в тюрьмах, этапах, на Крайнем Севере и в Заполярной тундре, за колючей проволокой в лагерях, в Ухте и Воркуте, в чрезвычайно режимных лагерях, с позорными бериевскими номерами на одежде, уничтожающими достоинство человека, я, как очень и очень многие коммунисты, которых постигла одинаковая участь, глубоко верил в силу нашей партии Ленина, в силу большевистской правды, в силу всепобеждающего учения марксизма-ленинизма. Эта глубокая вера аккумулировала наши внутренние силы, энергию, волю, и мы выжили, хотя ценой потери самого дорогого для человека — своего здоровья.

Для каждого из нас, коммунистов, оставшихся в живых, должно являться непреложной истиной, что коммунист, пока у него бьется сердце (пусть с перебоями, пусть с разными склерозами), должен постоянно быть в рядах активных строителей коммунизма, до последнего биения своего сердца.

XXII съезд партии окончательно разоблачил культ личности Сталина и тех, кто ему помогал в уничтожении сотен, тысяч коммунистов, советских людей, преданных своей партии и Советскому государству. Суд истории над ними будет грозен и беспощаден. И чем скорее, тем лучше, чтобы неповадно было разным мелким прохвостам вроде Шеху, Ходжа и пр. вместе с их покровителями воскрешать сталинские традиции.

В заключение своего повествования о 17 годах, выпавших из жизни, я разрешу себе закончить словами из заключительного слова товарища Н.С. Хрущева на XXII съезде КПСС:

«Товарищи, наш долг тщательно и всесторонне разобраться в такого рода делах, связанных со злоупотреблением властью. Пройдет время, мы умрем, все мы смертны. Но пока работаем, мы можем и должны многое выяснить и сказать правду партии и народу. Мы обязаны сделать все для того, чтобы сейчас установить правду, так как, чем больше времени пройдет после всех этих событий, тем трудней будет восстанавливать истину. Теперь уже, как говорится, мертвых не вернешь к жизни. Но нужно, чтобы в истории партии об этом было правдиво рассказано. Это надо сделать для того, чтобы подобные явления впредь никогда не повторялись».

Май — январь 1956–1962 гг.

П. С. Дворкин

г. Омск-10, Масленникова, 2, кв. 21.

Дворкин Павел Соломонович, персональный пенсионер, 1894 г. Рождения.